

КОЛЛЕКЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНОВ



РУСЬ НА МУРМАНЕ



Серия исторических романов

Наталья Иртенина

Русь на Мурмане

«ВЕЧЕ»

2016

Иртенина Н. В.

Русь на Мурмане / Н. В. Иртенина — «ВЕЧЕ», 2016 — (Серия исторических романов)

ISBN 978-5-4444-9031-0

Великий князь Иван III отправляет большую рать на Каяно-озеро, самый север Балтики, чтобы вернуть под свою государеву руку местное карельское население и показать шведам, кому на самом деле по древним договорам принадлежит эта земля. В поход вместе с дворянским сыном Палицыным идет его юный воспитанник Митроха Хабаров. Попутно отрок намерен разгадать тайну гибели своего предка на дальнем берегу Студеного моря, в земле лопарей, слывающих племенем могучих колдунов. Он еще не знает, что навсегда окажется связан с этим северным краем – Мурманом, исходит его вдоль и поперек сперва атаманом полуслуживой-полуразбойной вольницы, а затем монахом-отшельником – будущим святым Трифоном Печенгским. Сойдется в смертельной схватке с лопскими колдунами, попытается вырвать Мурман из-под власти древних демонических сил, а основанный им у Ледовитого океана монастырь станет крупной торгово-промысловой факторией, боевой крепостью и эпицентром борьбы между русскими, шведами, норвежцами, датчанами за этот холодный край и его богатства.

ISBN 978-5-4444-9031-0

© Иртенина Н. В., 2016

© ВЕЧЕ, 2016

Содержание

Об авторе	6
Избранная библиография Натальи Иртениной	7
Часть первая. На каянский рубеж	8
1	9
2	13
3	17
4	24
5	31
6	36
7	44
Часть вторая. Северная вольница	51
1	52
2	55
3	60
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Наталья Иртенина

Русь на Мурмане

© Иртенина Н., 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

Об авторе

Книга «Нестор-летописец» московской писательницы Натальи Иртениной открывает линию исторических произведений, посвященную сложному периоду становления русской государственности в X–XI вв. По словам доктора исторических наук С.В. Алексеева, научного консультанта обоих романов, «автору удалось поистине вжиться в мир Древней Руси – и развернуть панораму этого мира перед читателями... Книга наследует лучшие стороны русского романтизма, обращая читателя к корням его культуры». При этом Иртенина «создает нечто большее, чем просто исторический роман. Ее цель – создание Легенды, в которой сплетены исторические события, темы русского героического эпоса, христианская мистика, противопоставляемая темному языческому наследию...»

Несколько лет назад Наталья Иртенина получила известность именно как автор «литературы чуда», в которой органично сплетаются земная реальность и иная, высшая. Этот литературный формат, развиваемый некоторыми современными писателями, получил удачное название «христианского реализма», сразу подхваченное критиками.

Не любя однообразия, Иртенина пробовала себя в разных жанрах – альтернативной истории (роман «Белый крест»), романа-притчи («Меч Константина»), историко-философского детектива (повесть «Волчий гон»), в биографическом жанре (эссе о Ф.И. Тютчеве в сборнике «Персональная история», книга «Патриарх Тихон»). Участвовала в коллективной научной монографии «Традиция и Русская цивилизация», развивающей концепции философии истории, в частности философии русского традиционализма.

В рамках художественных построений Иртенину интересует то позитивная модель христианского государства, то смысловые стержни русской истории. А, например, в романе «Царь-гора» автора волнует не только прошлое России, убитой после 1917 года, но и ее будущее, ее шанс на воскресение, поэтому линия Гражданской войны тесно переплетена в книге с линией современности. Поиск ответов на сложные вопросы человеческой истории и личных судеб, философская заостренность в яркой художественной форме, доля тонкого юмора – визитная карточка произведений Натальи Иртениной. А в последних своих романах она демонстрирует умение уютно «обжиться» в мире Древней Руси, среди князей Рюриковичей, бояр, монахов, дружинников, торгового люда – ни на йоту, как дотошный исследователь, не отступая от исторической достоверности летописного «эпического века».

Член Союза писателей России, Иртенина время от времени выступает также как публицист и автор статей на культурно-исторические темы в московской журнальной периодике и книжных изданиях. В полемике по литературным вопросам, на семинарах историко-литературного «Карамзинского клуба» она проявляет крайнюю жесткость и принципиальность, за что критик Лев Пирогов однажды в шутку отозвался о ней как о «...княжне Мышкиной на балу лицемеров».

На поприще художественно-исторических реконструкций Наталья Иртенина стала обладателем литературных премий «Меч Бастиона», «Карамзинский крест», премии Лиги консервативной журналистики имени А.С. Хомякова, награждена знаком «За усердие» историко-культурного общества «Московские древности». Роман «Нестор-летописец» в 2011 году номинировался на Патриаршую премию по литературе имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Избранная библиография Натальи Иртениной

- «Белый крест» (2006)
- «Меч Константина» (2006)
- «Царь-гора» (2008)
- «Нестор-летописец» (2010)
- «Шапка Мономаха» (2012)
- «Патриарх Тихон» (2012)

Часть первая. На каянский рубеж

Автор сердечно благодарит за неоценимую помощь в работе над книгой историка Московской Руси профессора Дмитрия Михайловича Володихина

От Сотворения мира 7004 год, от Рождества Христова 1496-й

1

– Скачи, Бархат! Скачи! Спасай, родной!

Вой метели мешался с волчьим подвывом из-за черной стены леса. Но гибкие быстрые тени, клубившиеся по сторонам дороги, неслись вровень с конем в жутком безмолвии.

Животный ужас Бархата передавался Митрохе. Сабельный клинок в руке – вот все, что было у него против стаи волков, январского мороза, ночной тьмы и злой пурги. Слишком много против одного. Или даже двоих. Но Бархат мчал все тяжелее. Зверье, окружившее их, как дворянская свита на выезде боярина, чуяло усталость коня и теснилось все ближе.

– Хей-я!

Митроха отмахнул саблей. Сбрил ухо первой наглой твари, нацелившейся в грудь коня. Волчина отлетел кувырком, на его месте тут же оказались двое. Бархат словно споткнулся, его пронзительное ржанье встало в ушах у отрока колокольным трезвонном. Он перелетел через голову жеребца, теряя шапку и остатки бесстрашия, с каким несколько часов назад убеждал себя в пустяковости езды по ночному мерзлomu лесу.

Волки завалили Бархата на колени, рвали ему бедра и предплечья, одна тварь впрыгнула коню на круп. Отфыркиваясь от снега и ревя бычком-одногодком, Митроха нащупал рукоять сабли. Шуйцей рванул на груди кафтан.

Он шел на беснующуюся стаю, оттягивал клинком по хребтинам, мордам, лапам. Большой кругляш в пальцах левой руки светился в лунной тьме тусклым огнем. Волки отскакивали от Митрохи, тянули вверх морды – к золотой гривне. В их зрачки словно переливался ее жидкий пламень и зажигал волчьи глаза ответным рыжим огнем.

– Я ваш князь, – сдерживая гнев, прокричал отрок, – а вы – дети мои!

Волки разжимали пасти и, как пиявки, отваливались от коня. Несколько десятков хищных желтых огоньков медленно приближались к Митрохе...

Спящий лягнул босой ногой, по которой вороньим пером водил трехлетний бутуз. Под хихиканье малышни Митроха завозился, нарочно размашисто повернулся, и с тесной постели посыпались, кроме бутуза, еще двое, постарше.

– Ну чего, мелкота? – Недовольно хмурясь, отрок сел на ложе.

Федюнька, Никишка и младший Афоська полезли обратно, расселись на стеганом одеяле, поджав ноги в теплых вязаных чулочках.

– Так долго спят одни великанские волоты, – заявил старший. – Полдня давеча, и ночь, и все нынешнее утро.

– А тятка тебя накажет за конька, – шмыгнул носом средний.

– Сдох? – напрягся Митроха.

Накануне он прискакал полумертвый от усталости, свалился с седла и не помнил, как его унесли в дом.

Никишка свел бровки и болтнул в воздухе ладошкой, что должно было означать: ежели Бархат еще не околел, то вот-вот. Афоська с любопытством копал в носу, сведя глаза к переносице.

Но печальная судьба коня заслонила в уме Митрохи иной мыслью.

– Где мой торок?!

Он соскочил с ложа, босиком заметался по клету. Увидел приготовленную на лавке одежду, торопливо натянул чулки и рубаху. Малышня дружно показывала пальчиками на кожаный мешок в темном углу. Видимо, торок уже побывал в какой-то игре, но быстро наскучил. Митроха брякнулся на коленки перед мешком, развязал и полез внутрь. Нашупав нечто, успокоился. Встал перед мелкотой и сурово, будто старший брат, молвил:

– Недосуг мне тут с вами. Бегите к мамкам.

Прежде Митроха не раз в мечтаньях отдавал все то небольшое, чем владел, только б и впрямь оказаться старшим братом этих несмышленишек, отпрысков некогда боярского рода, сынков служилого человека государева двора Ивана Никитича Палицына. Увы, он был лишь их дальней и захудалой родней. В доме дядьки Ивана его положение было немногим выше места дворского слуги – вольного, конного и оружного, но все же слуги.

Этот сон про волчью стаю отодвинул старые грезы куда-то далеко. Страшный сон, и при том чем-то сладостный...

Афонька встал на постели и ухватился за него.

– Играй в коняшку!

Буруз принялся цокать языком, понукая воображаемого скакуна. Повис на Митрохе, оттягивая рубаху. Отрок схватил его за руку и резко сбросил на пол.

– Пускай отец на настоящего коня тебя сажает, а не мне на шею. Пора уже.

Самому Митрохе годов было не столь уж много, скоро переваливало за двенадцать. Но телом и силой возрос с пятнадцатилетнего, разве что голос еще не переломился на мужской.

Афонька ушибся носом и немедленно взревел. К нему на помощь кинулся пятилеток Никишка.

– Злой! Злой Трошка!

Федюнька насупился. Спрыгнул с ложа и поволок обоих братцев к клетской двери. Напоследок со всей шестилетней взрослостью посмотрел на обидчика.

– Тебя тоже волки поели, как Бархата. Ты нонеча волколак... А тятка на долгую рать идет. Сотенным головой! Теперь Афоню не скоро на коня посадят.

Воспитанник Палицына, растерявшись было от обличений сопливых глуздырей, укусил себя за губу. «Поход на каянский рубеж! Сотенным головой!» Сапоги, стоявшие у двери, сами прыгнули ему в руки и сами налезли на ноги. На плечи лег зипун из крашенины. Калач на столе, давно остывший, сам выскочил из рушника и запихнулся в рот. Жуя на ходу, Митроха полетел во двор. Первым делом – проведать Бархата.

...С конюшни он вышел пожухлый и скисший. Дядька Иван доверил ему красавца-коня, теперь же Бархата сошлют в деревню, на землю. Загнанный двухдневной скачкой, с прокушенными ногами, жеребец охромел и был обречен доживать свой век в униженьи. Митрохе было горько чувствовать собственную вину. Бархат спас его от волков, вынес из опасности, а он ничего не мог сделать. Ему просто дадут другого коня, и все забудется.

Все ли?..

Отрок огляделся. Залитый зимним слепящим солнцем двор был полон суеты. Дворские слуги грузили возы, холопы дочинчали упряжь и оружие, сновали охающие бабы и зареванные, огрустневшие девки. С кузницы летел звон металла. Задиристо брехал пес Угоняйка, мешаясь у всех под ногами. Митроха остановил дворского:

– Где дядька Иван Никитич?

Палицын был в доме, давал наказы старшему над слугами Касьяну. Отрок увидел их на лестнице – поднимались во второй ярус.

– Дядька Иван!

Хозяин дома взглянул и тотчас отвернулся: не до тебя нынче.

– Возы проверил, крепки ли? Смотри, коли в пути хоть один развалится, голову сыму... Крупы нагрузил, сколько я велел?.. Корму коням?.. Вот что еще. Пошли сейчас человека к Кондыревым, пусть скажет Кириле Лексеичу, чтоб завтра пораньше выехал да ждал бы меня у Фроловских ворот для разговору. Вместе на молебен к Успенью отправимся...

– Дядька Иван! – Когда дело было горячо, Митроха становился липуч.

– Ладно, ступай. – Палицын отпустил дворского управителя. – Через час приготовь выезд на троих. Миньку и Гераську кликни. Проведаю князя Петра Федоровича. – Митрохе кивнул: – Идем в горницу.

Не успел Иван Никитич осесть на лавку и упереть руки в колена, как отрок пустился в опережение, дабы кормилец не вспомнил про Бархата.

– Возьми меня на рать, боярин! Сабля моя тебе послужит против каянских немцев!

– С чего это ты в бояре меня записал? – отбил наскок дядька, не двинув и бровью. Только полукафтанье расстегнул слегка от печного тепла. – Государь великий князь меня таким жалованьем не жаловал. И скажи мне, Митрофан, знаешь ли ты хоть, где обитают оные каянские немцы?.. Да и сабля твоя маловата, подрасти б ей лет несколько. Уж не спрашиваю про то, где ты коня возьмешь для похода.

Как будто и легкие удары, но отрок сжался под ними, свесил голову.

– Знамо дело, где свейские немцы, там недалече и каянские...

– Ты зачем коня загубил, дурья башка? – оборвал его бормотанье Палицын. – Для чего из родительского дому раньше срока сбежал? Сказано тебе было: на Аксинью-полузимницу за тобой приедут.

Митроха осмелел и глядел на кормильца исподлобья.

– На Крещение через Торжок до Новгорода проходили ратники воеводы князя Ивана Репни. От них прозналось, что великий князь посылает две рати, на свеев и на каян. Что на тех каян войско велено вести князьям Ушатым и тебе, дядька, с ними. Как же мне было терпеть до полузимницы, коли ты без меня бы ушел?

– Вестимо, без тебя бы и рать не сладилась, – усмехнулся дядька.

– Возьми!.. – взмолился отрок.

– Сказано: мал еще, подрасти. Даром что вымахал, а умом не поспел. Обузой будешь...

Мать хоть упредил, когда сбежал?

Митроха молчал, мрачно уставясь в пол.

– Ясно. Опять же дурья голова. Отца-то проведаль за все время?

– Если ты, дядька, спрашиваешь о черном попе Досифее, то не отец он мне.

Иван Никитич резко поднялся, шагнул к отроку. Тот, набравшись дерзости, прямо и бесстрашно смотрел на кормильца, как будто готового ударить.

– От своего рода отрекаешься?! – Хозяин дома сдержал руку, но гневом плеснул щедро. – Пащенком безродным захотел быть?

– А если я княжьего роду?! – отчаянно и гордо промолвил Митроха.

Палицын на миг остоленел.

– От матери слышал или от кого иного?

– Ни от кого. Сам чую – непростая во мне кровь.

Отрок потянул руку к груди, будто хотел вынуть крест для клятвы, но лишь приложил ладонь к зипуну.

Кормилец отвернулся. Ушел к двери и прикрыл плотнее.

– Ты сейчас, в глаза мне, сказал, что твоя мать, Устинья Хабарова, потаскуха и прижила тебя неведомо от кого?

Митрофан взглянул растерянно – такого он не говорил. Иван Никитич крепко взял отрока за плечи и толкнул к божнице в углу с крохотным огоньком лампы красного стекла под образами. Придавил к полу, вынудив встать на колени. Сунул ему серебряный крест с кивота.

– Пред Христом и Матерью Божьей клянись, что ты сын своего отца, дворянина Данилы Хабарова, ныне священноинока Досифея! И прощенья проси у Пречистой за срамословие, за поношение матери!

Воспитанник вырвался из рук Палицына, вскочил.

– Не буду я поповским сыном! – выкрикнул зло. – Он сам свой род предал! Прашур Хабар боярским сыном был, в родстве с думными боярами при московском князе! Дед Михайла в дворянах числился да с боярами тесно знался. Когда те мятеж на Москве задумали, великий князь Василий велел ему на лобном месте голову срубить вместе с прочими... А мне... мне в попы?! Зачем он в монахи пошел, зачем? С убогого поместья служил, так и то в казну забрали. Дом в нищете оставил, меня... Сестру едва замуж выдали за посадского тяглеца...

Митроха подавился горечью, умолк, красный как лампада у икон.

– Бог судья твоему родителю. Он теперь живет иной жизнью, по иным законам. Но ты не смеешь врать, будто он не позаботился о тебе. Он привел тебя в мой дом и просил вскормить и взрастить тебя как воина, дворянина... Ну что ж, ты свое слово сказал.

Иван Никитич прошелся по горнице с удрученной думой на лице. Остановился.

– Вон из моего дома!

Негромко произнесенные слова хлестнули отрока точно конской плеткой. Он смотрел на кормильца, удивленно открыв рот. Не верил услышанному.

– Я пять лет воспитывал тебя как родню, но коль сам называешь себя ублюдком... Вот тебе Бог и вот порог. Ступай вон. На Москве нынче, при государе, много княжья стало, как осы на мед летят. Авось найдешь того, кто пожелает с тобой родством и именем поделиться.

Дядька был желчен и язвил отрочью душу глубоко, не щадя. Митроха никогда не видал его таким. Он испугался.

Ноги ослабели и сами уронили его на колени, развернув к образам. Отрок истово перекрестился.

– Господи, соблюди душу мою и жизнь мою от поруганья! Не ищу срама на свою голову и мать свою не хочу бесславить. Отца моего, попа Досифея, спаси и помилуй, и на меня, грешного, призри милосердно! Внуши дядьке Ивану, чтоб взял меня на рать, чтобы мне выслужить назад отцово поместье!..

Палицын долго не рушил молчание, и Митроха не решался встать с колен, взглянуть на дядьку.

– Собирайся. Завтра до свету выступаем.

Отрок выдохнул и поднялся.

– Поедешь в обозе. Коня лишнего у меня нет для тебя. От Устья по весне поплывем на лодьях до Студеного моря. Далее через корельские глухие леса да болота пробираться станем... Как знать, – добавил Иван Никитич с сомнением, – может, доведется узнать о твоём прадеде Григорье Хабаре. Для чего он голову сложил на том море, где преисподняя близко. А о поместье вашем... коли даст Господь живым вернуться, потолкую с князем Петром.

– Дядька... – Глаза Митрохи заблестели благодарным восторгом. – Вот ежели б ты был моим отцом... Как бы я слушал тебя! ... Из воли твоей ни на волос никогда б не вышел!..

– Довольно об этом! – отрезал кормилец. Однако было заметно, что он уже нисколько не сердит. – Поглядим, впрочем, как будешь слушаться.

Прежде чем броситься укладывать в обоз все потребное для дальнего похода, Митрофан распугал в детской светелке мамок и нянек, усадил себе на загривок зевающего Афеньку и промчал его по всему дому, радостно игогокая. Афенька осоловело ликовал.

2

Устюг, что стоит у слияния трех северных рек, не похож ни на один другой город привольной Руси. Здесь люди будто не на земле живут, а на воздушях. Ни к чему не прикипают, ни к дому, ни к делу, а живут тем, что взбредет в голову. В торговый ли путь снаряжаются, в югру или на пермь подадутся за меховым прибытком, пограбить ли кого поплывут. А то просто лежат на печи, жуют калачи. От князя или от Бога дела для себя ждут, думами приваживают. От беса тоже могут дельце прихватить.

Митроха с первых дней разглядел устюжан – народ хитрый, разбойный, алчущий. Верно, в одной бочке когда-то солили новгородских ушкуйников и устюжских охочих людей. Но ушкуйников следы истребились от московской крепкой досады на них, а устюжане – вот они, служат государю князю, дают ему, когда нужно, рать, не спрашивая даже, куда идти – на югру ли, на вятчан, на Каянь... А где та Каянь? Говорят – у Каяно-моря, что лежит между свейскими варягами и корелами. Там, где на семи рыбных реках живет корельский народец, некогда отдавшийся под руку Новгорода и плативший ему дань. А после перекинувшийся к свеем.

Поп Кузьма, шедший с московской ратью для духовного окормления, осерчал на устюжские нравы и обозвал город вторым Содомом. Митроха плохо представлял, чем так досажден был первый Содом, но прозвище понравилось. Да и сам город пришелся ему по душе – своей бесприютностью под седым небом, бездумностью и легкостью, и оттого – вольною волей. Своими кривыми улицами, способными перекрыть московские переулки. Даже тем, как грозно набухал синевой апрельский лед на реке Сухоне, обещая однажды пушечным громом и великим треском открыть двинские ворота в полуночный север, на край земли...

Окно большого амбара на когда-то князем дворе распахнулось. В серые сумерки высунулась молодецкая голова и заблужила петелом:

– Ку-ка-ре-ку!

Внутри, за окном, ржали молодые мужские глотки. Служилыцы играли в кости, ведя подсчеты за несколько бросков на брата. Проигравший становился дураком и должен был дурить загодя придуманным способом: зацеловать в губы старую полуслепую стряпуху, перепачкать рожу углем и пробраться в баню, где нынче парились дворовые девки, перепугать их чертом; залезть на кровлю амбара и обругать во весь голос попа Кузьму.

В амбаре духмяно от скученного житья ратников, развешаны порты, рубахи и ножные обмотки, валяются кафтаны и кожухи, чадят светильники, кисло пахнет бражкой. Подворье еще на исходе зимы занял отряд боярских детей под началом князя Ивана Ляпуна Ушатого. Сотня Ивана Палицына расселилась по окрестным дворам и точно так же сохла от безделья. У «ушатых» всегда было веселее.

Митроха стиснул в кулаке предательские кости, снова выдавшие ему две дырки от бублика. Проиграл. Его черед дурковать. Задачу на сей раз измыслили хитрую: надо было преобразиться в устюжского блаженного Иванушку, помершего два года назад, и проскакать на своих двоих округ подворья с несусветными юродивыми воплями. Поелику тот Иван-дурак не иначе всегда передвигался, как скоком. Устюжские служилыцы, придумавшие забаву, уверяли к тому же, будто блаженный спал в печи на тлеющих углях и исцелил дочку устюжского наместника от беснования.

– Чего сидишь, Мотря, скидывай одежду.

– Зачем? – хмурился отрок.

– Тот наш юрод только срам обмоткой прикрывал, а зимой в одном драном зипуне ходил. Митроха швырнул на стол кости, встал и перешагнул через лавку.

– Не буду!

– Что ты как девка целковая ломаешься? – поддели устюжские.

– А точно девка, – догадал боярский сын из палицынской сотни Иларька, всего четырьмя годами старший Митрохи, злющий и завистливый, мечтавший оттереть его с места походного постельничего при сотенном голове. – Ни разу не видал его телешом иль в исподнем. Он и в бане со всеми не был. А ну, господа мои други, пощупаем-ка его!

Митроха не успел опомниться, как на него надели впятером, стали тянуть через голову зипун. Оставшись в рубахе и вертясь ужом, он очутился на полу, меж пятью парами ног. Дотянулся до сапога, где был нож.

– Прочь, зверье! – рычал отрок, вслепую нанося удары.

Ему засветили по уху, раскровянили нос, но отобрать засапожник не смогли. Орал Иларька, зажимая рану на предплечье. Один из устюжских удивленно рассматривал свои располосованные порты. Митроха, как мельничным крылом, размахивал рукой с ножом. На драку сбежалось еще десятка полтора ратных.

– Не девка, – просопел второй устюжский детина, тоже задетый.

– А кто ж Иванушкой пойдет блажить? – озабоченно спросил не участвовавший в бою Онька, дружок и подпевала Иларьки.

– Убью-у-у, Мотря! – тонко выл тот, обнимая длань с кровенеющим рукавом. – Удавлю гаденыша!

Утерши нос, Митроха поднялся с пола. Сорвал с пояса плоскую черную калиту, швырнул Оньке.

– Ты пойдешь. Там плата. – Ощерившись, обводил всех злым волчьим взглядом. – Если кто еще назовет меня Мотрей или сопляком... – Он удостоил взором подранка, убрал нож в сапог и отчеканил: – Я – князь! Звать меня – Митрий.

Тем временем Онька изучал содержимое калиты, вывалив на ладонь. Это был серебряный складень тонкой работы с двумя ликами – Христа и Богоматери. Онька развернул кожаную витую тесемку складня и повесил себе на шею.

– Я согласен, – изумленно сказал он.

Митроха подобрал брошенный зипун, нашел свою шапку, с гвоздя в стене снял епанчу, обвалив другие. Не глядя ни на кого, пошагал вон из жилища. Перед ним молча расступались, а вслед ему вертели пальцем у лба.

Распутная весенняя грязь чавкала под ногами, как чревоугодник за обильным столом. По обочинам еще серели просевшие валы снега, давая ввечеру достаточно света, чтобы видеть вокруг. Привычным путем, меж чернеющих покосившихся тынов, Митроха шел к крутояру, под которым вольною северной дорогой стелилась Сухона. Пока еще скованная, но готовая вот-вот сломать свои узы. Пустое сиденье в Устюге, тоже схожее с узилищным заточеньем, отрок сносил со все большим нетерпеньем.

Оно, конечно, у начальных людей войска дел невпроворот. Шутка ли – снарядить судовую рать в два десятка лодий. В Устюге насадов, плававших до моря, до Вологды и на Сольвычегодск, было и больше, не говоря о малых суденках. Но все были торговые, а купцы не горели охотой отдавать их в государеву службу – выговаривали у князя Петра Федоровича корысть, бились за каждого судового вожа, знающего реку. Устюжского войска набиралось шесть сотен человек, да пермичи прислали две с половиной сотни. Устроили им после Пасхи смотр с утверждением сотенных голов из бывалых московских боярских детей. В иные дни даже Митроха редко забегал в дом похлебать горячего – дядька Иван Никитич гонял с поручениями.

Но все то время до сладостного замиранья в груди толклось на сердце манящее слово – Колмогоры. Какие там горы, у самого Студеного моря – как на иконах пишут или лучше, веселее? И как выглядит оно – море? И отчего прозывается Дышущим? Впрямь ли дышит?..

Он вдруг подумал о серебряном складне, отданном в откуп Оньке. Ему дала этот складень посадская женка в Ростове. Пришла к сотенному голове Палицыну с просьбой отыскать на Соловецком острове в Студеном море ее сына, но Ивана Никитича не дождалась. Рать наутро

отправлялась в путь, и женка кинулась с мольбой к Митрохе. Верно, приглянулся ей чем-то. Либо сына напомнил. Заклинала, чтоб непременно разыскал в монастыре на острове ее Фединьку и передал ему матернее благословение – складень с образами. Сам Фединька, сказывала, ушел из дому три лета назад тайно, поперек родительской воли. Два года женка проплакала, а на третий решила – раз уж быть сыну чернецом на неведомом острове и раз Господь не вернул его обратно, то пускай его там хранит и согревает материно благословение. Только все не знала, с кем передать. Но тут сам Бог послал московскую рать. Наружность Фединьки женка описала подробно.

– А ростом он с тебя, сынка, и годами почти ровня, постарше чуток. Шестнадцатый ему теперь пошел. Три года кровиночку не видела... – Женка расхлюпалась, но утерла слезы. – Так ты смотри, передай, Митрофан! Христом Богом заклиная. Не потеряй, не прокути, слышишь? А не передашь – проклятье мое понесешь. Материнское проклятье оно знаешь какое? На болотном дне достанет!

Угрозы женки Митрохе были что пустое место. Но передать складень обещался. Если, конечно, сыщет этого дурня Федьку, сбежавшего в монахи.

Теперь, выходит, не передаст и ростовского глуподыра искать незачем.

Сам Митроха о своем доме в Торжке, о горящей по нем матери не вспоминал и без благословения ее не пропадал. Потому рука не дрогнула, когда бросала складень Оньке...

Он не заметил, как на безлюдной кромке высокого устюжского гляденя, откуда при свете дня открывался бескрайний простор, появился кто-то еще.

– Теперь они не оставят тебя, пока не добьются твоего униженья. А тот, который поклялся тебя убить...

– Ты кто? – Митроха ощутил смутный страх. – Я тебя не видел там.

Лицо чужака едва проступало из сумерек. Но голос был незнаком.

– Тебе нужна сторожа. Они могут прознать о том знаке, который ты носишь на себе, и отберут. Ты один слаб против них.

– Какой знак? – Отрок отодвинулся от незнакомца, внушавшего тревогу.

Чужак был в длиннополой однорядке и шапке-тафье. Из-под лба остро выступал нос, похожий на клюв.

– Есть много людей, которые хотели бы им владеть. Но он твой, и тебе нужна защита. А знаешь, почему он – твой?

– Почему?

Митроха решил на время оставить подозрительность и послушать странные словеса. Теперь человек уже не казался опасным. Он был похож на фрязина, то ли на сурожского купца, или на обоих сразу. Говорят, великий князь иногда позволял фрязам-латинянам ездить по полночным землям Руси ради каких-то государевых дел.

– Потому что ты – знатный воин. Но пока не ведаешь о том.

– Ведаю! – невольно вырвалось у Митрохи.

– Тем лучше. С годами ты станешь вожаком. Твоя кровь и твой дух дают тебе древнее право на это. Но сейчас ты нуждаешься в охранителях. Иначе вместе со знаком можешь лишиться всего. Я знаю, ты осторожен и бережешься. Никого к себе не допускаешь... не заводишь пустых и глупых дружб. Не доверяешь ни дядьке, ни холопам. Не показываешь никому... Но какая-нибудь дурная случайность... Ты понимаешь меня?

Митроха вдруг осознал, что они уже не стоят на вершине крутояра, а давно шагают тесным проулком меж дворов.

– Ну... понимаю.

А в голове металась пойманной птицей нелепая мысль: откуда чужаку все это известно? И хотелось выпустить ее из клетки, чтоб улетела прочь.

– Я могу помочь тебе. Я и мои братья.

– Как это?

Мальчишка недоуменно озирался: куда они идут?

– Тебе нужно взять нас к себе на службу. Мы будем служить верно до тех пор, пока сам будешь этого хотеть. Ты должен лишь сказать: беру тебя и братьев твоих в службу, Равк.

Пока Митроха переваривал в уме диковинное предложение и режущее слух имя, они вышли к воротам дома, где стоял постоем дядька Иван Никитич. Было тихо и пустынно, даже псы, бесившиеся в городе по весне, не брехали.

Ворота отчего-то стояли незапертыми, одна створка была полуотворена. Равк остановился под скатной кровлей ворот и поманил к себе отрока. Митроха медлил. Он испугался, что чужак сам хочет украсть у него вещь, о которой говорил. Откуда он знает про нее?! А если он не один? Про каких-то братьев болтает... Из груди уже готов был вырваться крик: на дворе должен быть кто-то из служильцев или челяди, услышат, выбегут, спугнут татей.

Незнакомец внезапно сам ушел за створку ворот. Митроха приблизился и толкнул ее, отворив сильнее. Заглянул во двор. Никого. Горят окна, из поварни доносятся сытные запахи.

Он вернулся на улицу. Прислонился спиной к тыну, стоял, раздумывая. Краем глаза заметил светлую приближающуюся фигуру. Рука потянулась к засапожнику.

– Фу ты, напугал! Онька! Ты?.. Чего молчишь-то?

Как будто впрямь Онька – дуркует по уговору, живописует юрода. Без порток, замотанный будто бы в простынь, с голой грудью. И босой. На апрельской-то стылой земле.

– Ты что, дурак?

– Я Иванушка.

И голос был вовсе не Онькин. Митрохе опять стало страшно. Но про нож он забыл.

Босоногий подошел. Лицо теперь было хорошо видно – молодое, безусое. Он внимательно заглянул в глаза Митрохе, отчего тому стало вовсе неудобно.

– Не верь им, – попросил Иванушка. – Обманут.

– Никому я не верю, – пробормотал отрок, испытывая горячее желание задать стрекача.

– Хочешь к Студеному морю?

Митроху не удивил вопрос.

– Хочу.

– Назад не вернешься.

– Погибну? – Душа затрепетала.

– Не-ет. Вернуться не сможешь. Они не пустят. Вот это, – Иванушка протянул длань и почти дотронулся до груди отрока, – принадлежит им.

Митроха быстро закрылся рукой.

– Мне! – возразил.

– Значит, ты тоже будешь принадлежать им. – Иванушка помолчал и сказал грустно: – Кровь человечесю станешь пить. Много. А от последней чаши устроишься.

– Я не... не буду... – ошарашенно выдавил Митроха.

Босоногий мучил его. Внутри замутило – представилась чаша, полная крови. К горлу подступила тошнота. Он зажмурился.

– Ступай туда, где стоит полночное солнце. Там твое место.

Митроха сполз вниз по тыну и плюхнулся задом на полоску снега. Запустил пальцы в жесткий режущий наст, зачерпнул горсть и стал до боли, нещадно тереть лоб и щеки. Льдинки царапали кожу, и когда он отнял руку, увидел в ладони снежную кашу с кровью, быстро тающую.

Улица вновь была пуста.

3

Место звалось Орлецы. Двина, не сумев побороть эту препону, обогнула скалистый мыс большим заворотом. Будь это место не в полных краях, а в низовских, стоять бы ныне на горе великому городу – стражу, воину, господину окрестных земель. Но на холодной малолюдной Двине не над кем было господствовать и не от кого сторожить. Села, погосты раскиданы по берегам редко, градов нет вовсе. Давным-давно, с тех пор и леса здешние полностью обновились, видела эта земля находников-варягов, приплывавших на разбой, видела воинственную чужь, жившую тут. Но от тех и других осталась только смутная память.

Так и стояло бы место пусто, если б не засвербело в старину у новгородцев возвести тут крепость, дабы уберечь свои северные уголья и промыслы от длинных рук московского князя. И вознесся некогда на мысу сторожевой град Орлец с каменным детинцем, посадом, валами и рвом.

Новгородцы же его потом и порушили. А Москва все равно пришла сюда, и никакая крепость не была бы ей помехой.

Митроха поддел мыском сапога обломок серого плитняка на краю обваленной стены. Тот сорвался, с шорохом увлек за собой сыпучее крошево древней кладки. В светло-синих северных сумерках отрок проследил путь камня, замершего внизу среди россыпи таких же осколков былой новгородской славы.

«Неплохое местечко, чтобы свернуть тебе шею», – процедил давеча Иларька, задев Митроху туловом. Отрок ответил ему понимающим взглядом. Это было еще при свете, когда северное солнце долго и недвижно висело над дальними лесами. Когда воеводы в сопровождении детей боярских забрались пешим ходом на гору, одолев заросшие сосняком валы, и дивились новгородской лихости. Дядька Иван Никитич коротко обсказал Митрохе судьбу Орлецкой крепости. Сто лет назад здешний двинский посадник отложился от Новгорода и целовал крест московскому князю. Новгородцы в ответ пошли войной. Не на саму Москву, конечно. Устюжан пограбили, иные городки тож. Добрались до Орлеца, но взяли не силой, а измором. Город после того, сочтя его злом, разворошили, раскидали по камешкам. Посадника увезли с собой – наглядно топить в Волхове.

Теперь Митрохе чудились голоса осажденных, крики приступающих к городу, удары стенобойных орудий. С тех давних пор мертвое жило здесь своей жизнью, независимой от людей.

Оба воеводы Ушатые, сотенный голова Палицын и прочие вернулись на берег, где пристали лодьи, еще засветло. Митроха отстал в бору за валами и вернулся на руины. Иларька ясно дал знать, что нынче же ночью все решится меж ними, и место указал. Сабля была при себе, владеть ею дядька обучил воспитанника изрядно. А боярский сын Иларька Шебякин трус, распустеха и чванливый балобол. Одно слово – негораздок.

Митроха шел по кромке разбитой почти до подошвы стены, сторожась и прислушиваясь. В синей парче небес всплывал месяц-половинник. Изредка протяжно стонала ночная птица.

Что-то насторожило его. Не звук, не движенье, просто ухнуло сердце. Он бесшумно спустился на руках с края стены и притаился в тени с засапожником наготове. Если Иларька крадется как тать, не видать ему честного боя...

– Твой дружок не придет.

Митроха изумленно поднял кверху лицо. На стене возвышалась четко обрисованная лунным светом фигура.

– В прошлый раз нам помешали. Теперь можем продолжить наш разговор.

Митроха лихорадочно вспоминал его имя – Рок, Руск, Рогоз? Откуда он взялся? Плыл следом за лодейным караваном или прямо на котором-нибудь из насадов, взятых в поход? Но они и без того переполнены людьми.

– А где Иларька? – сумрачно спросил отрок.

– Я же говорил: тебе нужна сторожа. Он более не опасен.

– Где он?

– Он... ушел. Ты вылезешь оттуда или мне спуститься?

Митроха прошел вдоль стены к осыпавшемуся разлому и вскарабкался наверх.

– Чего тебе надо от меня, фрязин?

– Я Равк, а не фрязин. Ты не доверяешь мне. Это правильно. Ты не должен верить никому. Но мне можно. Я и мои братья служим тому, кто владеет знаком, который на тебе. Мы принесем тебе удачу. Вот тебе зарок: в Колмогорах у тебя будет свой дом, богатство, своя дружина из отборных воинов, самая красивая дева полюбит тебя. Ты будешь водить своих воинов в походы и всегда возвращаться с хорошей добычей. Ты победишь многих врагов...

Митроха слушал его вполуха. Он в оторопи смотрел за спину чужака и пытался совладать со скачущими от страха мыслями.

– Тебя это пугает? – усмехнулся клювоносый, оглянувшись через плечо. Месяц светил ему в лицо, а на разбитой стенной кладке позади не было тени. Он беззвучно спрыгнул на обломки стены вниз и слился с темнотой. Оттуда донеслось: – Когда буду нужен тебе, просто произнеси мое имя – Равк.

Митроха, глядя ему вслед, запоздало поднес руку ко лбу, сотворил крест. Долго стоял столбом, обмирая от жути. Потом быстро-быстро, оступаясь на шатких камнях, бездумно и бесчувственно зашагал по останкам новгородской стены. Уже находился недалеко от воротной башни крепости, где можно было спуститься и перебраться через ров. Внезапно нога потеряла опору и подвернулась. Митроха упал, расцарапав ладони о каменную крошку. Боль в ноге помешала сразу встать и идти дальше. Он решил переждать.

Расстегнул петлицы кафтана и ослабил ворот верхней рубахи. Вытянул из-за пазухи гривну. Цепочка по всей длине была обмотана полотнищем, чтобы не привлекать ничьих глаз. Сама гривна, извлеченная на лунный свет, излучала тусклым зеленоватым сияньем.

Если мать рассказывала верно, ничего не перепутав и не забыв, золотая гривна переходила в их роду от отца к сыну без малого век. А первым ее обладателем был боярский сын Григорий Хабар. Но откуда она взялась и что означает – то неизвестно. Хранили ее в великом обережении и тайне. Зимой, замыслив побег из Торжка, Митроха выкрал гривну из потайной скрини. С тех самых пор, как узнал о ней, он считал ее ратным оберегом. Его отец, или тот, кого считают таковым, отверг воинскую дворянскую службу, надев рясу чернеца. Митрофан был намерен не только преуспеть в дворянском звании, но и преумножить старинную честь рода, выбиться в служилыцы государева двора, стать заметным для самого великого князя, получить, если доведется, придворный чин. Это было непросто. Москва, в которой и своей знати хватало вдоволь, нынче полнилась всякого рода пришлыми из былых уделов князьями, князьями, княжатами, боярами и боярскими детьми. Их не просто много, а через край много, как грязи по осени.

Но золотой княжеской тамги ни у кого из них нет, даже у думных бояр. Ни сам Хабар, ни дед, ни отец не сумели ею воспользоваться. В ней – тайна. Он, Митрофан, сумеет оседлать судьбу и понудит ее мчать в нужную сторону. Кому и когда в его невеликих летах приходило на ум начинать служить? На государеву службу шли с пятнадцати годов. А ему многое предстоит совершить, и приступать надо раньше.

Он поворачивал кругляш, рассматривая давно запечатленные в памяти изображения и значки. Одну сторону целиком занимал крест, концы его поперечин были загнуты посолонь. В окошках между перекладинами кто-то когда-то процарапал кривые линии, мелкие рисунки и славянские буквы: СКЛЗЛТББН. На другой стороне вверху скакал олень с ветвями рогов, почти легшими ему на спину. Внизу бежал зверь, похожий на волка; на нем сидел человек в длинном кафтане, с продолговатым щитом в руке.

Отрок похолодел от внезапной догадки. Равк, или как его там, сказал, что он – раб гривны и служит ее хозяину. Отчего же он, Митроха, решил, будто и дед, оставивший голову на плахе, и отец, ни с того ни с сего постригшийся в чернецы, и даже прадед, чья судьба – страньше странного... не знали ее тайны?! Что они не прошли через искушение ею?

Он спрятал кругляш под одежду, плотно запахнул кафтан. Его пробрал озноб. Ночи на севере в середине мая еще дышат зимней промозглостью.

Боль в ноге затихала. Митрофан доковылял до остатков башни. Здесь, как нарочно, стена разрушилась так, что образовала подобие каменной лестницы. Он спустился к валу, на котором были возведены стены крепости, миновал обвалившийся воротный проем башни. Здесь ров пересекала, будто мост, слежавшаяся груда битого камня. Митроха дошел до его середины, когда из-за облака снова выглянул месяц.

На самом дне рва с остатками двинской полой воды, среди глыб стенной кладки лежал мертвый Иларька Шебьякин. Митроха присел на корточки, рассматривая его. Поломанное тело неестественно изогнулось, голова была вывернута круто вбок.

Отрок усилием заставил себя оторвать взгляд от мертвеца, встать и пойти. Через ров, сквозь тревожный ночной лес на склоне горы, к берегу реки и лодейному становищу, к горящим кострам и спящим людям. Завтра с утра станут искать пропавшего боярского сына, и тогда он скажет, где видел его. А сейчас нельзя думать ни об этом, ни обо всем остальном.

Иларька виноват сам.

* * *

...После Орлеца Двина словно обессилевала и уже не имела мочи покрыть водами все пространство, объятая ею. Даже от Пинеги, добавлявшей свои воды, не было ей помощи. Река разбивалась на протоки, по местному – курьи, и обтекала пространные, населенные людом острова. Горы тут и впрямь были – и зеленые холмы, и крутые обрывы матерой земли. Сами Колмогоры растянулись вдоль рукава Курополки на несколько верст, окружились островными и береговыми посадками. Один на всех был только колмогорский великий торг, чья слава дошла до Москвы еще сто лет назад.

Митроха в первый же свободный день отправился знакомиться с богатствами полуночных земель, которые свозили на торг купцы и промысловые люди. Торг был не похож на московский. Ни рядов, ни прилавков, ни глоткодеров-зазывал. Все негромко, деловито, чинно. Ярусы бочек с соленой рыбой, бочки с жиром морского зверя, бочки со смолой, возы рыбьего зуба, возы с меховой рухлядью и кожами, груды кусковой слюды, коробка с мелким разноцветным речным жемчугом, который купцы в охотку пускали из горстей шелестящими струями. Все в таких количествах, что если розницей торговать – до второго пришествия не управиться. Низовские и редкие заморские гости обговаривали сразу большие купли и тут же везли товар на свои лодьи и шняки либо в колмогорские лабазы на гостином дворе.

У воевод тем временем свои заботы. Двинские охочие люди зачислялись в рать – насчитали больше пяти сотен. За ними объявился отряд с берегов Ваги в две сотни голов. Двиняны, важен и половину устюжан решено было отправить наперед – не морем, а берегом до Онеги и других поморских сел, где ползимы и всю весну по указу великого князя корабельщики шили малые суденки – карбасы. Ратные должны были садиться там в эти карбасы и плыть ввиду берегов до устья реки Кемь. Остальным – идти на устюжских насадах из двинского устья до корельского берега, в ту же Кемь.

– В нужном ли числе будут карбасы, Акинфий Севастьяныч?

Князь Петр Федорович Ушатый восседал за трапезой не во главе стола, уступив место по старшинству чина московскому знакомцу, окольничему Андрею Тимофеевичу Головину. Встретились неожиданно в Колмогорах, не ведая о том, какие труды возложил на каждого вели-

кий князь. Головин держал путь на Двину от Новгорода, куда с осени отбыл государь для войны со свеями. Плавать московским послам через Варяжское море стало нынче невозможно, зато ход по Студеному морю в Данию, куда направлялось посольство, был чист. Пускай гораздо длинен и тяжек, однако надежен от посягновений свейских немцев. Плохо лишь то, что сразу нельзя сесть на лодью – надо ждать, когда чахлое северное лето разойдется и выгонит полуденными ветрами весь лед из моря.

– На двухтысяцну рать потребно сотню карбасов. В Онеге, да в Сороцке волостке, да в Шуеречком, да в самой-от Кемске корабельщики ноне рук не спокладат. Бывают, не подведем государя-то.

Колмогорский боярский сын Истратов, в чьем доме остановились князья-воеводы, был природный новгородец, а новгородца всегда можно узнать по его речи с цоканьем, оканьем и прочим кривозвучием, нелепым на слух московского жителя. На Москве их так и звали – цокалки.

– Тамошни корельски вожи, цто по рекам войско поведут до Каяни, у кемскова головы теперь на дворе-от сидят, дожидаяцца.

– А что, Петруша, веришь ли ты сему новгородскому обдувалу? – облизывая пальцы от свиного жира, осведомился Головин. – Он ведь, мыслю, новгородскую свою честь втайне блюдет. А что есть новгородская честь? Москву вкруг пальца обвести да латинам вовремя подмигнуть. Я, чаю, он своего человечка которого-нибудь уже давно-о на Каянь спроворил с весточкой: ждите, мол, московских сиволапов. И мне дырявые лохани подсунет для посольского плаванья.

– Я, господине, никаку досаду Москве ввек не уцинил и наперед-от не стану, – помрачнел Истратов. – Государь-князь мне это дело сам вверил, грамоту с указом могу всем, кто захочет, объявить.

– Ввек не уцинил, – передразнил его окольный. – А родитель-то твой в посадниках на новгородском вече сиживал. От наказания же за свои измены сбег со всем своим домом на Студеное море.

– Не тревожь родителю память, господине. Вся имения наша в государеву казну пошли, тем и наказаны-от. Поперву и я не хотел московску службу править, на низовско поместье сядице, как прочие, кого со старинных мест свели да на новое житье водворили. В том вся моя измена, и за нее споплатился.

– То верно, господа мои, – вставил слово подьячий посольства Григорий Истома, посаженный в дальнем конце и более слушавший, чем угощавшийся. – В недавних временах, года четыре эдак, сам ту бумагу в приказной избе перебелил. Слово в слово государеву укоризну запомнил. Господин Истратов бил челом великому князю, чтоб ему в городские служилые люди поверстаться, потому как одумался он и вину свою признал. Князь же великий повелел ему зваться оттоле колмогорским посадским тяглецом и оружия на себе никакого не носить. По досельной службе и честь – так писано было.

– Дородна посадская чернь в Колмогорах, – крикнул удивленно Головин, – хоромы себе боярские ставит, соляными варницами богатится. Что ж князь великий, отошел разве от своей немилости, званье тебе вернул? Москва-то отсель далеко, много ль оттуда видно. Гляди, шпынь новгородский, веры тебе от меня нет никакой. Коли утопишь посольство государево в вашем чертовом море, тебя как изменщика без замедления посадят за приставы.

– Полно тебе, Андрей Тимофеич. – Воевода Ушатый слушал весь разговор с кислым, как немецкое вино на столе, выражением. – Что ты собачишься, уж помилуй за резкое слово. Я тебе запросто, без чинов, так скажу: государь Иван Васильевич для того и собирает русские земли, чтоб не было впредь ни московских, ни новгородских, ни тверских, а были б одни люди русские, христианские, заодин живущие. Твои же речи обратно, в старинную болотину тянут, откуда мы едва вылезли. Ведомо мне про этого боярского сына. Вернул ему государь служилое

звание. А ежели он свое дело худо исполнит, какая ему и детям его от того корысть? Три года тому послы Ларев и Зайцев из датской стороны тем же путем через Мурманский Нос возвращались – на истратовских лодьях.

– Что веры мне нет – то я уже слышал, – со сдержанной горечью добавил Истратов. – Сказано раз – и ладно. Один раз дорог, не надо сорок. Лучшего кормщика на посольски корабелки тебе, господине, подрядил.

– А для какой же надобности истратовские лодьи ошивались в тех латынских местах? – осведомился Головин.

– Сыпь в Норвегу возили, – ответил новгородец. – Зерно.

– Торговля? – Окольный удивленно задумался. – Не слышал, чтоб из Колмогор торговый путь до немцев лежал.

– Лучше расскажи, Акинфий, – молвил князь Петр, – не заходят ли к поморским берегам свейские корабли? Может, бывают возле Мурмана? Нынче мы со свеями крепко воюем, как бы они нам с этой стороны дурна не учинили. Побережься бы. В прошлые-то времена, когда на здешних землях новгородская господа государила, как бывало?

– Всяко что бывало. Да давнѐху ни свеев, ни мурман не видали. Свейски-то бусы и шняки полста лет тому новгородчи со своих лодий побили, ко Двинской губе-от не сподпустили их. А годов за тридесять до того мурманы гостили. Полтысячи так голов нагрянули морем. Пожгли монастырский погост на Варзуге-реке, потом на Двине разохотились – монахов никола-корельских да михайловских посекали, други погосты да сельцы разору предали. Двиняны у них две шняки отбили. Остатние незванные гости едва-от ноги за море унесли.

– А финских людей из Каяни свеи насылают в набег?

– О таком не слыхано.

– Добре. Ту землю корельскую у Каяно-моря, с которой Новгород некогда брал дань, свеи на словах доныне за Русью признают, а молчком заселяют ее своими данниками, финским племенем. Поставили крепостицу и межевой камень, за который государевых людей не пускают ни торговать, ни промыслять. Пока еще мало там той финской чуди, ну а как наплотится, верно дело, свеи против нас ее станут насобачивать. Государь Иван Васильевич, дай ему Господь многая лета, изъявил желание вернуть ту землю со всею корелою, живущей на семи реках, под свою державную руку, а пришлых финских людей изгнать и селения их пожечь.

Причины, по которым великий князь московский заратился на свеев, были хорошо всем известны. Несколько лет назад свейский наместник северной Каяни, Норботнии по-тамошнему, приказал схватить большое число новгородцев и русских корел, что промысляли рыбу у тех берегов Каяно-моря. Их обвинили в нарушении границы и грабеже да по-быстрому казнили: кого повесили, кому отсекли руки. Кому-то удалось бежать из плена. После того свейское войско двинулось на порубежье и заняло русско-корельские земли. Государь в то время был занят, воюя с Литвой. Только в прошлом году развязал себе руки для отпора свейской наглости. Рать Ушатых была уже третьей в этой войне.

– Из тех людишек, что от королевского плена сбегли, двое в Колмогорах осели, – сказал Истратов. – На двоих две руки, обоя левые.

– А что, Акинфий, – предложил князь Петр, после долгого молчания отбросив тяжкие думы о государевых делах и русских обидах от иноземцев, – не позвать ли баб-песельниц? Что-то уныло у нас стало. Пускай спуют боль-поморщину да развеселят.

– Баб-от можно. Да как бы они пушщой тоски не навели своей поморщиной.

– Пошто так?

– Убыток в мужиках об этом годе велик, а год-от начался только. С весновального промыслу... зверобойного знацит, семеро не вернулись. На льдине унесло. На мирносицкой седмице две лодьи в море вышли, обеи о камни расщепило. Да на Груманте, на острове в дальнем

море, пять-на-десять целовек по осени остались. Сколь из них зиму пережили, через месяц только узнаеце, как путь дотуда ляжет.

Окольный Головин поежился.

– Вот радость велика, море это ваше.

– А у нас, господине, так говорят: и радость, и горе помору – все от моря. Море наше хлебно поле. Море кормит, море и хоронит. Во всяко плаванье смертну рубаху берут, чтоб сразу и обрядиться, ежели приспееет последний-то срок...

– А у нас говорят, – государев посол опрокинул в себя кубок с хмельным медом, – пьяному и смелому море по колено. Истома!.. Где наш датчанин, прах его побери?

– Мистр Давыд лежит, где его со вчера положили после опробования медов в погребах у сотского Трофима Исленьева. С утра только морсу изволил отведасть.

– Слыхали?! – отнесся окольный к братьям Ушатым. Вздел палец. – Посол короля Юхана. Большой человек. Королевский боярин! А к русским медам пристрастен.

– На государевом дворе боярские дети переусердствовали, – развел руками подьячий. – Велено было поить не до изумления, а до веселья. Кто ж знал, что оне столь падки окажутся.

– Как повезем-то? – озадачился Андрей Тимофеевич. – Вдруг за борт нырнет?

– Державнейший не помилует... – покачал головой Истома.

...Митроха ждал на истратовском дворе дядьку Ивана Никитича, трапезовавшего в доме с Ушатыми и государевым послом Головиным. Истомясь бездельем, он подсел на завалинку к дворскому послужильцу. Тот оказался колмогорским жильцом, хаживавшим прежде в море.

– А где оно, море-то? Все только о нем говорят.

– Море-то? Дак отсюль не видать. По Двине ешшо семьдесят верст проплыви – вот те и море.

Митроха вздохнул.

– Воли-то сколько тут. Простору.

– На Москве небось такого нету?

– Нету.

– Оставайся.

– Пращур мой тут остался. В землю лег.

– Ну?! – удивился двинянин.

– Вот те ну! Где такое место – Варзуга-река?

– То на Терском берегу. Как из морскова Гирла в окиян плыть, по левую руку тот берег.

– Живут там монахи?

– Был ихной погост в стары годы, от Николы Корельского чернецы, цто у Двинской губы. Сейчас только село, монасей нету. А на цто тебе?

– Там он лежит. Погиб от мурман-находников. Чернецы, которых не зарезали, его погребли.

– Быват, – покивал служилец, перекрестясь.

– А мурманы – они кто? – наседали Митроха. – Где живут?

– Мурманы-то... дак немчи и есть. Кто ж ешшо. А мурманами зовуща от моря Мурманска, моря-окияна, которо лопску землю с северу моет. За тем морем далеко живут, на норвецком берегу. Оттуда и приходят на своих бусах-корабелках. В досельны-то годы, в старину бывалу, новгородчи с корелой ходили туда дань с тамошней лопи брать. Племя тако дикуще – лопяне. А и мурманы с нашей лопи дань берут.

– Как же – и нам и им лопское племя дань дает? – удивился отрок.

– Дает. Им-от, лопи дикой, все равно, кому давать. А даньщики ихные с нашими, быват, вздорили, быват, и бились. Порато бились. Ну, крепко, весьма, – объяснил двинянин незнакомое Митрохе здешнее словцо.

Мальчишка задумался, затвердел скулами. Наконец сказал:

– Мурманы, свеи, каяны. Всё едино немцы. Возьму и я с них свою дань.

От крыльца дома с высоким всходом донесся шум голосов, крики. Несколько послужильцев, среди которых были и посольские, и воеводские, ругались с оборванным и косматым простолюдином в войлочной поморской шапке. Мужик был плечист и здоров, как конь, в левой руке держал на весу толстый длинный сук. Всем видом говорил, что готов пустить свою дубину немедля в дело.

– Пшел, дурень сиволапый, куда лезешь мохнатым рылом.

– У князь-государя воинских людей хватает, чтоб еще безрукие в службу просились.

Митроха пригляделся – одной руки у мужика впрямь не было. Он ушел с завалинки, чтобы послушать перебранку.

– А я и одной рукой вас, робятушки, всех оземь тут положу, ежели захотите.

– Чиво-о?

Двое послужильцев пошли на наглеца: один подхватил брошенный кем-то на земле топор, другой оголил саблю. Мужик немного отступил, перехватил поудобнее палку и ослабил.

– Ну коли не боитесь, робяты...

Но драке не дали начаться. Меж противниками встряли, оттеснили по сторонам.

– Ступай прочь, дядя. Мы убогих не трогаем. Был бы ты о двух руках, тогда и разговор бы был.

– Робятки! – Мужик бросил дубину и пал на колени, перекрестил лоб. – Христом Богом прошу... возьмите с клятыми немцами воевать. Порато надо! Те окаянные нехристи руку мне отняли за так, а приятелей моих, с которыми промышляли рыбу на Каяне-море, голов лишили. А я им глотки грызть стану, только с собой возьмите, робятки! Воеводу покликайте, служивые! Ну крещенные вы аль нет?!.. Совесть-то у вас христианская есть?

Его вопли не слушали. Втроем взяв мужика под руку и за тулово, выволокли со двора. Следом бросили палку.

Митроха подождал, пока служилыцы уйдут от ворот, и выскользнул на улицу. Вытолканный взашей простолюдин сидел в траве у забора, поникнув, подогнув под себя ногу, и беззвучно содрогался. Отрок молча встал перед ним, сунув большие пальцы рук за пояс и размышляя. Мужик поднял голову, махнул единственной рукой, отгоняя его прочь. Из глотки вырвалось короткое глухое рыданье.

– Хочешь воздать тем немцам? – спросил отрок и не дождался ответа. Присел перед мужиком на корточки: – Отдай мне свою месть. Я смогу. Мне они тоже должны.

Но однорукий снова отмахнулся, стыдясь своей слабости перед мальчишкой.

4

Гулкий плеск моря свивался в невидимый лохматый клубок с шумом ветра.

Больше всего здесь было ветра, сосен и дикого валуна. Еще цветных мхов, сидевших на камнях. Остров Соловый оказался вовсе не соловой масти, как думал Митроха. Он был зелен, а бессолнечный свет ночей делал его густо-синим. Даже на безлесом берегу, среди вросших в землю ветхих валунов и криворуких, колченогих от вечного ветра берез остров казался дремучим, спящим от сотворения мира. Пришли люди, согнали самый крепкий сон, но разбудить совсем им стало не под силу. Лежит остров на пучине морской, накрыт небом – переливами цвета одно переходит в другое, будто лазорево-жемчужная утроба покоит этот кус земли, бережет его для чего-то. А души людей, попадающих сюда, нанизываются на суровую нитку вечности.

Митроха испытывал на Соловце унылое беспокойство. Не понимал, зачем воеводы тратят здесь дни, когда нужно спешить, ведь северное лето короче, чем в низовских землях. Временами даже казалось, что остров обволакивает разум забвением и никто кроме него, Митрохи, уже не помнит, куда и для чего направляется рать. Дядька Иван Никитич, спрошенный о том прямо, лишь осведомился, почему он не пошел в монастырь для исповеди и причастия. Но Митроху в отличие от князей-воевод на разговоры с чернецами не тянуло.

Тянуло, наоборот, прочь с острова. Хотя б на те клочки земли, что отпрядышами лежали вокруг Соловца. К Заяцкому острову отправилась большая часть насадов, пливших от Колмогор. Только три воеводских пошли к соловецким пристаням среди мелей, подводных скал, корг по-местному прозванию, и торчащих из воды плешивых каменных островков-луд. И то встать им пришлось в полутора верстах от монастырского причала, иначе б сели на брюхо. Намедни Митроха просился у Палицына отплыть с попутным карбасом на Заяцкий, но дядька не пустил. А нынче объяснил – для чего. От такого объяснения у Митрохи аж дух скрутило, как стираное полотно в руках бабы-портомой. Обида в груди встала нешуточная. Иван Никитич велел ему оставаться на острове, в монастырском жилье, и ждать возвращения рати из Каяни.

– За что так со мной, дядька?! – взвыл отрок. – Ты ж обещался!

– Ноне передумал! – отрубил сотенный голова. – Князь тебя доглядел, отсоветовал брать. Не на гульбу идем – на ратное дело. На дворе служить одно, а в сечу тебе рано соваться.

– Да ты... да он... – У Митрохи дрожали от возмущения губы и затравленно скакал взгляд. – Да я же...

– Остаешься! Будешь ждать меня или...

– Не буду. – Отрок мотал головой, пятился. – Сбегу! Хоть на чем, а за вами поплыву. По-собачьи поплыву!

– С игуменом я договорился, монахи за тобой приглядят. А утащишь у них карбас и один уплывешь – в море погинешь. И не такие умельцы да смельчаки, как ты, в нем смерть находят.

И время-то какое обидное выбрал дядька Иван Никитич для такого разговору – перед самым отплытием, когда уже ветер дул попутный, поветерь на здешний лад, и ратные люди грузились на лоды, а князь Ушатый о чем-то напоследок переговаривал с кормщиками у пристаней.

Митроха не сдержал гнев, рвавшийся из него. Позабывши себя, стал орать на дядьку. Да и того не мог вспомнить после, про что так яростно кричал, ополоумев. Что-то про дядькину зависть к нему, будто-де не хочет Палицын, чтоб он, Митроха, показал себя воином, и будто позарился уже на его поместье. Что будто бы думает совсем втоптать его род в землю, самого Митроху за холопа в своем доме держит, а теперь еще хочет, чтоб он тоже в монахах сгнил, как черный поп Досифей...

В чувство его привела тяжелая оплеуха. Устоял на ногах. Потер горящую скулу, поднял упавшую шапку, со злобой глядя на Палицына. Тот был немного растерян, однако спокоен. Митроха стал озираться – боялся позора. Но свидетелями его разговора с сотенным головой были только бездушные камни на берегу, волны и крикливые чайки. Палицын будто знал – увел мальчишку подальше от лишних глаз и ушей.

Отрок бросился бежать. Вылетел на тропу, ведущую к монастырю, помчался в другую сторону. Задыхаясь от бега и ненависти, сжимавшей горло, впрыгнул на первую же сходню. За бортом лоды на пути у него вырос дворовый служилец Палицына Гераська – тулово как бочка, руки что весла. Митроха не стал с ним спорить, скосил глаза на другой насад.

– И туда не пролезешь. Там Климята поставлен.

Про третью лодью и думать не стоило, на ней княжьи люди досматривают. Отрок спустился на берег, чуть не плача от бессилия. Ушел с каменистой полосы в траву, сел, подтянул колени к груди. И все время, пока пристанские монахи-служки не убрали сходни, отчаянно ждал, что все-таки позовут. Но дядька Иван Никитич взошел на лодью, не оглянувшись.

Митроха встал.

– Равк, – тихо сказал он. Повторил громче: – Равк! – Он и хотел услышать ответ, и боялся. Страсть пересиливала страх. – Ну отведи же меня на лодью, чертов Равк!!

Насады один за другим отходили от пристаней, разворачивались, бежали в море. «Обманул!»

Отрок опустил в траву, уткнулся лбом в колени. Не видел, как вдали на первой лодье, миновавшей опасные корги, развернули парус. Но не успели поставить парус на второй, как головной насад обронил белое полотнище и стал поворачивать. Возле него на воде темнело пятнышко – карбас.

Когда Митроха кое-как совладал со своим горем и глянул в море, его ошеломило зрелище приближающихся насадов. Один за другим они подходили, убрали длинные весла, причаливали, выметывали якоря, принимали сходни. С головного первым сошел хмурый воевода Петр Ушатый. За ним, как репа из мешка, посыпались по сходням боярские дети, походная челядь. Заложив руки за спину, князь Петр смотрел, как перепрыгивает через прибрежные волны карбас.

Служильцы вытащили лодку на берег. На руках у них повис полумертвый от усталости вёсельщик. Стал говорить что-то подошедшему князю. Из карбаса вынесли еще одного, положили наземь. Митроха разглядел обломок стрелы, глубоко засевшей в плече.

На берегу стало густо от множества людей. Все говорили разом, но Митроха никак не мог вникнуть в смысл речей и криков. Его занимало совсем другое – он видел перед собой опустевшие лоды и сходни. Подошел ближе. Никто не обращал на него внимания.

Мальчишка юрко взбежал по шаткой доске, прыгнул через борт. Метнулся к спуску под палубу, нырнул в полутемную дыру. Утроба насада была загружена лишь вполовину. В обычное время здесь складывали купеческий товар, а сейчас только несколько бочек с водой и соленой рыбой да мешки с крупой и сухарями. Отдельной грудой, укрытой промасленным полотнищем, лежал воинский снаряд – доспехи-куяки, кольчуги, щиты, шлемы с наголовниками, оружие. Кучей свалены стеганные доспехи-тегиляи. Митроха подцепил один из них, ужом прополз между бочками и затулился на подтоварье у самого борта, за которым плескала вода.

Сердце бешено бухало. Он устроился удобнее на мягком тегиляе, закрыл глаза, нащупал на груди гривну. Теперь можно плыть.

...Снилось отроку, будто дядька Иван Никитич отвечает ему одну за другой крепкие затрещины. Митроха вскрикнул от особо увесистой, по лбу, и проснулся. Долго ошеломленно соображал, что с ним и где он. Его мотало из стороны в сторону, больно било по голове, спине,

плечам. В ушах стоял страшный грохот и свист. На полу, где он сидел, было мокро – откуда-то натекала вода. Душа сжалась от ледяного ужаса.

Он пробрался на ощупь меж тяжелых катающихся бочек и вскарабкался наверх, на палубу. Сразу обдало промозглым холодным ветром. Спотыкаясь о сидящих и лежащих повсюду людей, то и дело валясь с ног от чудовищной качки, мальчишка добрался до кормы. Там на руле обвисал кормщик – удерживал всем туловом лодейное кормило. Митроха схватился обеими руками за веревку-дрог. Палуба вдруг ушла из-под ног, и он полетел на доски. Над судном выросла, а затем обрушилась огромная черная волна. Рот наполнился горьким морским рассолом.

– Что это?!

– По-мо-ги! – простонал судовой вож, из последних сил напирая на рулевой брус.

Подкормщиков вблизи не было. Митроха навалился на кормило. Острое ребро бруса тут же врезалось ему в грудь, сдавило дыхание, глаза выпучились от боли и страха. «Так вот оно какое – море!»

– Поперек волны нать держать, не то враз опружит, – прокричал кормщик.

Митроха, сжав зубы, держал.

– Потонем?

– На корги не бросит, дак и не потонем. Не бойсь, паря. В море беду-то терпеть не диво.

Сколько же он проспал под палубой? Не слышал даже, когда выходили в море. Но когда б ни вышли, такого – вот этого – не должно было быть! Небо свинцово давило на водяную бездну, которая бесновалась, затягивала насад в свою черную глубину, а потом подбрасывала как щепку, вырастала впереди стеной и разбивалась о палубу в смертоносные клочья. Митроха едва стоял на ногах, дрожавших от напряжения. Когда же все успело так измениться? Будто ад растворил свои врата.

– Охти мне! Море – измена лютая, – словно прочел его мысли кормщик. – Дак и без страха Господня по нему не походишь.

Вдруг стало легче. Рядом с Митрохой на брус легла еще пара рук.

– Ты откуда взялся, ушкуйная голова? – Иван Никитич был гневен, но все же пересердить море и он бы не смог.

– Ветром, дядька, занесло, – без сил пробормотал отрок.

Он отвалился от руля и в изнеможении опустился на залитые водой доски. Обвязал себя в поясе дрогом. Подполз к борту и ухватился за лодейное ребро.

Лютой смертью умирают поморы. Но они сами ее выбирают. А ему-то за что?..

...За ночь, расцвеченную серо-зелеными и лиловыми красками, море устало беситься. За укрытыми лодью островками вовсе было почти тихо. Позади над пустыми клочками земли и в проливе меж ними стояла пепельная мгла. Митроха, едва опомнясь от смертного страха, оборачивался за корму и не верил, что спаслись. Когда насад понесло к островам, кормщик закрепил руль вервием, истово перекрестился, сбегал куда-то и вернулся с белой рубахой в руках. Стал тут же, у кормила, натягивать ее поверх своей, насквозь мокрой. Лицо помора сделалось совершенно спокойным и даже, почудилось Митрохе, торжественным. Тут уж у него и надежд никаких не осталось – судовой вож лишился рассудка, а лодью сейчас разобьет о скалы.

Когда этого почему-то не произошло, кормщик огляделся, с трудом стянул налипшую рубаху и снова припал к рулю...

Митроха отвязался и встал на ноги. Лодья оживала говором, людским движением. Служильцы быстро перекидывали из рук в руки черпаки-плицы, выметывая за борт воду из чрева лоды. Дядька Иван Никитич тревожно оглядывал окоем за кормой. Митроха поежился от мысли о двух других насадах.

Впереди лоды темнела полоса – земля.

– На-ко, куды отнесло, – вертя головой и сверяясь со своими приметам, удивился кормщик. – Быват, Шуеречка губа? Правили-то по Кемску, ан вона как. Ну теперя, стало, до Шуеречка села бежать, обратнова ходу нету нонь. Погодить нать.

– Сколько от того села до Кеми? И сколь ждать придется? – удрученно спросил Палицын.

– Дак верст триццать, быват. А кто тебе, господине, скажет, когда-от море затишеет? Анде, может и по три дни, и по пять взводнем пылить. Кто морем живет, тому ждать не по диву, а в свычай.

Митроха подошел к ним ближе, потыкал носком сапога в мокрую белую рубаху, коном лежавшую на досках.

– А это чего?

– К смерти обряжался, – просто ответил кормщик, отвернулся и закричал служилцам-двинянам, знавшим морское дело и помогавшим ему вести лодью: – Мартьян, Силантей! Райну вздыньте, ветром пойдем.

Подкормщики потянули дроги. Поперек лоды вздулось широкое полотно паруса.

– Рочи дроги! Силантей, вожжи мне!

На плечо засмотревшегося Митрохи легла тяжелая рука. Он вздрогнул. Дядька с силой развернул его к себе.

– Раз уж ты здесь... Я жду.

– Чего, дядька? – насупился отрок.

– Когда повинись передо мной. Или думаешь, спущу тебе всю ту брехню?

– За что виниться-то? – Митроха упрямо не понимал. Давешний разговор на соловецком берегу остался где-то далеко-далеко, за морским лихом, и не помнился вовсе.

– Не дуркуй, Трошка, – предупредил кормилец. – Ты каких только смертных грехов не положил на меня с полоумья. Я, выходит, злодей каких мало – и тать, и душегуб, и змей подколодный. Отца твоего поклялся сгубить и разве что мать твою не снасил. За такое бы тебя в монастырскую темницу, на покаянный хлеб с водой...

Митроха изумленно отворил рот. Палицын долго смотрел ему в глаза, ставшие пустыми, как у дитяти. Наконец вздохнул.

– Пади на колени, михрютка. – Отрок послушно стукнул коленками о доски настила. – Целуй руку. – По губам ему плюхнула дядькина десница. – В Кемь придем, там решу, что с тобой делать.

– Дядька, а почему лоды тогда вернулись? – угрюмо спросил Митроха. – Кто в том карбасе был?

– Промысловые мужики с дальнего становища. – Палицын стал еще более суров. – Видели, как через Горло прошло три десятка немецких шняк. Сvei либо норвежане к нам пожаловали.

– Мурмань!

Душа у Митрохи всколыхнулась.

* * *

Село Шуеречское жило на реке Шуе, которая с большим шумом падала через пороги в морскую губу. Насад через пороги пройти не мог, его оставили на якорях у Песьей луды. На двух плоскодонках, спущенных с лоды, переправились к берегу. До селения оттуда было четыре версты, а в половине пути стоял монашій скит, соловецкая отрасль. Монастырь владел на Шуе луговыми пожнями, лесными угодьями и долей в рыбных заборах.

Этот берег моря звался Корельским. Между селами, погостами и промысловыми становищами здесь была только одна дорога – морская. Матерая земля заперлась непроходимым лесом, тайболой по-здешнему, болотами, побережными скалами.

Покуда море непогодило, сотенный голова Палицын свел знакомство с шуерецким старостой. Вместе с ним обошел на реке корабельные станы, где шили карбаса для государевой рати. Корабельщики не подвели – Иван Никитич насчитал дюжину готовых речных суденок. Каждое могло вместить до двух десятков человек с припасом и всем снарядам. Дожидались только пешей рати, отправленной из Колмогор через Онежский берег и до Шуи-реки пока не добравшейся.

На другой день Митроха сидел на высоком камне-голыше у реки и рьяно отмахивался веткой от липкого северного гнуса. Он следил, как три скитских монаха плавают на карбасе вдоль забора из бревен и прутьев, перегородившего реку на версту выше села. Чернецы с помощью ворот на заборе вытягивали из воды верши, укрепленные кольцами на кольях, вбитых в дно. Каждая верша, плетеная из коры и бечевы, была размахом в сажень, и чтобы вытащить улов, монахам приходилось браться за нее втроем. Двое держали, а третий орудовал в верше деревянным горбылем. На дно лодки хлестко вываливалась некрупная семга-межонка, какая бывает только летом.

Рыбы в реке было так много, что Митроха видел шевеление ее массы под водой перед забором. В конце концов и карбас тяжело осел под грузом улова. Чернецы подплыли к берегу, и один выпрыгнул из лодки. Карбас поплыл вниз по течению, а высаженный монашек должен был топать пешком.

– Управимся на пороге, Феодорит! – махнули ему из карбаса.

К забору от села подплывали на веслах еще несколько карбасов с гомонящими женками. Все шуерецкие мужики разъехались на лето по становищам для морского промысла, оставив баб хозяйевать на реке.

Чернец не торопился в путь. Он снял с головы скуфью, наклонился к воде и стал плескать в лицо. Погода стояла паркая, хоть солнце и пряталось за облачной пеленой. Митроха решил подойти.

– Ну и сколько тебе лет? – с вызовом спросил он.

– Шестнадцатый. – Монашек оглянулся, встал. – А что?

Митроха пожал плечами, выразив все свое пренебрежение. Он пристально смотрел на юного инок. Ему вспомнился серебряный складень от ростовской женки.

– Так это ты, что ли, Федька?

– До пострига был Федор, – удивился монашек. – А откуда тебе... – Он нацепил скуфью и вдруг изменился в лице. – Ты видел матушку?! Ты из Ростова?! Да? Скажи, тебе матушка про меня говорила? Говорила? Что она сказала? Простила ли меня?.. А отец?..

Сгоряча инок чуть не схватил Митроху за рубаху. Росту они и впрямь оказались почти одного, но чернец был хлипче телом.

– Да чего пристал. Не знаю я твою матку. На Соловецком острове монахи про тебя поминали.

– А. – Феодорит сник.

– Слышь! А ты зачем монах? – снизошел Митроха.

Инок не ответил.

– Ну и дурень. Эй, погоди! – Мальчишка нагнал чернеца, побредшего прочь. – У вас в скиту знают, куда подевались монахи из погоста на Варзуге-реке?

– А тебе на что?

– Те монахи могли знать об одном человеке. Он погиб от мурман. Это давно было.

– От мурман? Это было совсем давно, – подтвердил Феодорит.

– Теперь они снова пришли. Слыхал? Если мы их не отобьем, они могут и сюда приплыть.

Пожгут вас и вырежут.

Монашек со странной отрешенностью взглянул на него.

– Может быть, старец Андроник что-нибудь слышал про твоего человека. Тебе надо поговорить с ним. Он пришел на Поморье даже раньше, чем преподобный Савватий, начальник всей Соловецкой обители. И встречал некоторых никола-корельских монахов, тех, что уцелели тогда.

– Да ну, – не поверил Митроха, – так долго не живут.

Он был к тому же разочарован, что не удалось напугать монашка.

– Старцу Андронику сто девять лет. Пойдем...

Три версты до скитского жилья промелькнули почти незаметно, если не считать избитых по камням ног и до крови искусанных комарами лиц. Перед избой-кельей Феодорит попросил Митроху подождать и скоро позвал.

Старец Андроник был не просто ветхим. На отрока он произвел впечатление ветхозаветного. Длинная, ниже веревочного пояса борода была совершенно бела, как сугроб после вьюги. Руки будто выделаны из тончайшего желтого пергамена. На лице не было места, свободного от глубоких складок. Брови мохнатели заиндевевшими кустами. Старик не вставал с низкого деревянного седалища. Казалось – если поднимется, то сейчас же рассыплется.

Но светлые очи из-под нависших век смотрели цепко.

– Я слышал о том человеке, – продребезжал старец. – Однако смутно. Он жил не в Корельском погосте, а в лопском сийте. Лопари живут родами. Один род – один сийт, погост по-нашему. Когда пришли норвецкие люди, он вышел к ним на берег и сражался. Он был воин. С ним был слуга, тоже погиб... Кто он тебе, отрок?

Митроха вытер пот, выступивший капельками от волнения.

– То мой пращур. А что он делал в этом... в лопском погосте?..

– Если этого не знают в твоём роду, то я и более того не ведаю. Наверное, об этом знали лопари. Но их сийты не стоят на месте. Их потомков тебе не найти. Да и для чего тебе их искать? Что ты хочешь найти? Твой пращур положил жизнь за други своя, его дух водворился во благих обителях. Иноки позаботились о христианском погребении тела... Ты молишься о нем?

– Я? – Митроха замялся. С этим стариком, похожим на святого пустытника с иконы, поневоле не хотелось темнить. Напротив, росло желание довериться старцу. Мальчишка оглянулся на Феодорита. Тот стоял столбом у порога и, кажется, даже не прислушивался к разговору – был где-то внутри себя. Митроха расстегнул ворот рубахи и неспешно снял с шеи гривну. Протянул старцу. – Они застали его еще живым. Он отдал им это и просил переслать с надежным человеком его жене, моей прабабке... Цепь тоже из золота.

– Ты прячешь ее на себе, – не спросил, а утвердил старец, рассматривая гривну. – Это лопские знаки. А тут буквы... Где-то я уже видел такую... или похожую... Как звали твоего предка?

– Григорий Хабар. Он был боярский сын.

Гривна выпала из рук монаха. Митроха быстро подхватил ее с пола. Старец Андроник вперил очи в пространство перед собой.

– Я помню... Так значит, Григорий забрал эту вещь у него. Тот человек был выученик лопских колдунов... и тоже называл себя князем... Московский боярин Иван Палица с сотней служилых людей разорил это разбойное гнездо в вологодском лесу...

– У кого – у него? – Митроха был ошеломлен. – Ты, отче, знал моего прадеда?! И пращура Палицыных?

Старец, будто не слыша его, обратился к Феодориту:

– Помнишь, о чем мы с тобой говорили? Сей лопский народец трудно будет вырвать из лап дьявола. Они опутаны своим колдовством будто сетью.

– О чем ты ему говорил? Отче, расскажи мне! Какое разбойное гнездо?! – взмолился Митрофан, бросившись к ногам старца.

Он знал, что когда-то боярский сын Григорий Хабар был сослан великим князем в Вологду на покаяние. Об этом любила рассказывать мать. За неведомые дела Хабар полгода бил поклоны и утруждал постом плоть в Спасо-Прилуцком монастыре. А до того в вологодских лесах с ним приключилось некое таинственное диво, и там же, в дремучем бору, нашлась ему невеста, Митрофанова прабабка. Был Митроха маленьким – слушал эти материны повести как страшную сказку со счастливым концом: сели они пирком да за свадебку, стали жить и добра наживать. Но продолжение у сказки, которое мать не сразу ему поведала, а лишь когда подрос, оказалось странным: пятнадцать лет спустя Хабар уплыл в полночные земли неведомо для чего и не вернулся. Теперь ее продолжение стало еще и жгучим.

– Тебе не надобно знать это, чадо, – качнул белой головой монах. Ласково положил ладонь ему на макушку. И обжег приговором: – Брось эту вещь в огонь!

Митроха разочарованно вернул гривну на грудь, спрятал под рубахой и, не сказав ни слова, кинулся вон из кельи.

2 События описаны в повести «Чудское городище».

5

– Чего тебе? – сердито спросил отрок вставшего за спиной у него монашка.

Он оседлал толстый рогатый ствол-плавень, выброшенный рекой. Неподалеку, против скита на всхолмье, к воде спускались мостки. По ним от лодки-осиновки к монашьему поселению и обратно ходили два нелепых на вид мужика. Оба были низкорослы, кургузы, в расшитых цветными лоскутками рубахах, в кожаных чоботах с загнутыми мысами, в маленьких островерхих колпаках. Сначала они оттащили в скит сеть, полную рыбы, теперь грузили свою долбленку тяжелыми мешками.

– Почему ты не уходишь?

– Кто эти чучелы? – Митроха кивнул на мужичков-невеличек. – Кореляки?

– Нет, лопляне. Они иногда приплывают, выменивают в скиту соль и зерно. Выше по реке у них летний погост.

– Лопляны?! – Митроха соскочил с бревна. – А по-нашему они говорят?

– Немного. Вон тот, Одгэм. Я от него учусь их молви, а он от меня русской.

– Так ты их знаешь? – Размышлял мальчишка недолго: – Если я покажу им мою гривну, они захотят ее украсть?

– Лопари никогда ничего не крадут. Они добрые и простодушные.

– Ага, добрые. Ты что, про лопских колдунов не знаешь? Мне еще в Колмогорах про них всякого наплели. Вон, даже твой старец сказал.

– Это оттого, что они Христа не знают...

– Позови этого, – оборвал Митроха монашка, – как ты его назвал?

– Ты разве не слышал слов старца? Брось свою гривну в огонь.

Феодорит отшатнулся и едва не упал, когда Митроха наскочил на него со вздетыми кулаками и заорал:

– Глуподырый остолбень! Как я без нее узнаю про моего... про Хабара! Забыл, что твой старец сказал? Тот, от кого гривна, называл себя князем! Я должен все узнать! А ты или поможешь мне, или не мешайся под ногами!

– Послушай, а почему старец сказал – тоже? – Инок не задели его вопли, он остался смирен. – Тоже называл себя князем. Кто еще? Твой пращур был князьего рода?

Митроху словно огрели обухом по темени. Ведь ничего такого он старцу не говорил. Инок не дождался ответа.

– Прощай. Я не могу тебе помочь. – Феодорит слегка нагнул голову в поклоне и зашагал к скиту.

– Стой! – крикнул Митрофан. – Я видел в Ростове твою мать. Она приходила к сотенному голове.

– Что она говорила? – Монашек порывисто вернулся.

– Скажу, если позовешь лопина и будешь толмачить, – отрезал мальчишка.

Инок задумался.

– Хорошо. В этом нет худа... Одгэм! Иди сюда.

Лопари закончили погрузку мешков и готовились отплыть. Тот, которого позвал инок, поспешил к ним. Заулыбался. Что-то сказал, подойдя.

– Чего он лопочет?

– Спросил, здоровы ли мои олени. Это лопское приветствие, – смутился Феодорит. – У меня нет никаких оленей... Тирву, Одгэм!

Митроха хмыкнул, рассматривая лопскую породу. Ростом мужик был чуть выше его плеча. Порты и рубаха выделаны из кож. Лицо темное, задубелое, а светлая борода росла жидкими клочьями. Голубые глаза с красноватыми белками любопытно уставились на отрока.

Чем дольше они смотрели один на другого, тем настороженнее делался лопин. Он больше не улыбался.

Митроха снял с шеи гривну. Не выпуская из рук, показал мужику одной и другой стороной. Золотой кругляш тотчас приклеил к себе взор лопаря. Феодорит что-то сказал ему.

Одгэм взволнованно зачастил на своем наречии.

– Он говорит, что это бог, – переводил инок. Поправился: – Идол. И что ты, наверное, большой человек, богатый, раз у тебя такой...

Лопин не дал ему досказать. Ударил себя ладонью в грудь:

– Одгэм тоже есть кедьке-табай. Не такой. Твой красивее.

– Покажи.

– Э-э, свой кедьке-табай не показывай чужим. Плохо.

– Я же тебе показал свой.

– Твой коль-табай пустой. Я вижу. Иммель ушел из него. Ты давно не делал лоахт.

– Не приносил идолу жертв, – с отвращением перетолмачил Феодорит.

– Каких еще жертв? – растерялся Митроха.

– У всех иммель есть сайво-вуонгга. Духи, которые служат. Они скажут, какой лоахт надо. Тогда бог вернется.

Лопин снова уткнулся воспаленными глазами в гривну. И вдруг попятился, вскрикнув. В страхе залопотал по-своему, тыча пальцем в золотой кругляш.

– Он говорит, что ты, наверное, получил этого табая от великого кебуна... Так они называют своих колдунов... Говорит, это Каврай-олмак. На волке. У него в руках куамдес, волшебный бубен. Этот иммель покровитель кебунов и нойд, лопских жрецов...

– Бубен? – пробормотал Митроха. – А я думал – щит.

– Господи! – Инок, опомнясь, чуть не взвыл и схватился обеими руками за голову. – Спаси мя, грешного, очисти язык мой!.. Одгэм, ведь ты обещал не носить идолов в скит! Ты согласился принять христианскую веру. Я же тебе поверил!

– Э-э, – мужик хитро усмехнулся, – у лопина много врагов. Лесные звери. Злые духи. Чудины. Яммии. Богов тоже надо много. Еще один, сильный бог рууш, хорошо.

Феодорит, протонав, бросился прочь. Митроха вдумчиво потыкал пальцем в процарапанные значки на гривне.

– Что тут нарисовано? Опять вроде бубен? И гора какая-то?

– Одгэм не знает, – заверил лопарь. – Но есть, кто узнает. К нему плыть через море, на Куз-ойвэ. Однако страшно. Он злой кебун. Я поплыву. Он будет киковать для меня. Ты со мной?

– Да, – не раздумывал Митроха. – Только Федорку нужно уговорить. Твой кебун небось по-нашему не толмачит.

Монах убежал недалеко. Стоял на берегу ниже по течению и с непроницаемым лицом взирал на поток воды. На предложение Митрохи даже не обернулся.

– Нет. Старец Зосима ни за что не отпустит меня на Кузова. Я и сам не хочу. Там старые лопские кумирни и могильники.

* * *

Круг всхожего солнца пламенел над кромкой безбрежных вод, в той стороне, где был выход из моря в океан – Горло. В той же стороне, но намного ближе лежала Соловецкая земля, а еще ближе – Кузовские острова. Плыть до них на карбасных веслах – полдня. С парусом и того меньше.

В путь отправились, когда море вздохнуло – кроткая вода отлива пошла на большую, приливную.

Утреннее море оглушало тишиной. Поверхность воды была гладкой, будто начищенное серебряное блюдо. Ни взводенок над отмелью нигде не плеснет, ни чайка не разорвет кличем безмолвие. Только скрипели тихо уключины, полоскались весла и напевал под нос Одгэм. Митроха не сумел разобрать в лопской песне ничего кроме «го-го-го, ла-ла-ла».

– Экая прорва воды. – Поежился он, вспомнив, как ярилась недавно морская бездна.

По правую руку от них проплывал остров. Вдалеке виднелся еще один, крупнее.

– А все-таки твой Зосима отпустил тебя, – громко сказал Митроха иноку, скорчившемуся на другом конце карбаса. – Знаешь почему? Это я его попросил.

– Ты?

– Разве ты холоп его, чтобы он беспрекословно распоряжался твоей волей? Я так и сказал ему.

– Если старец скажет мне пойти в огонь, я исполню, – спокойно и очень серьезно промолвил Феодорит. – Он позвал меня и велел плыть с тобой на Кузова. Я не знаю зачем. Он ничего не объяснил, только наказал взять съестной припас на семь дней. Тебе для разговора с колдуном хватит и одного дня.

– К утру вернемся. Завтра идем в Кемь...

Митроха вскочил и заорал. За бортом карбаса в толще воды ему привиделась страшная белая морда, всплывавшая из глубины к лодке. Отрок схватился за саблю.

– Белый дьявол! Там!..

О днище карбаса глухо ударило. Лодка покачнулась. Но на лопина и Феодорита вопли Митрохи не произвели должного действия. Одгэм продолжал грести, а монах невозмутимо смотрел в воду. Глядя на них, мальчишка перестал в ужасе прыгать с саблей.

Однако лодка продолжала раскачиваться.

– Это белуха, – объяснил инок. – Они любят чесаться обо что-нибудь. Наш карбас приглянулся ей. Она не причинит вреда.

Митроха посрамленно сел и стал молча высматривать диковинного зверя. Скоро белухе надоело тереться о днище, и она, кувыряясь, выплыла из-под лодки. Отрок разглядел короткие плоские передние лапы, горбатый лоб.

Карбас шел проливом между двумя полосками земли – матерой землей и долгим островом.

– Шуйская салма. Из нее пойдем в голомянь. В открытое море.

Юный монах говорил как заправский помор, всю жизнь проживший на морских промыслах.

– Салма – это чего?

– Пролив.

– А вдруг свеи покажутся?

– Не покажутся. Они, должно быть, грабят сейчас Терский берег или Кандалуху.

Феодорит, конечно, не мог знать наверное, но Митроху его слова успокоили.

* * *

Слуга тронул за плечо князя Петра, нечаянно задремавшего сидя на лавке. Ночью воевода не спал. Подсчитывал, достанет ли сил разбить свеев, и по всему выходило, что не хватит у него ни людей, ни лодий. У кемских пристаней стояло лишь семнадцать насадов. Два под командой брата Ивана с Соловков отправились в Сороцкую волость. Один с сотенным головой Палицыным сгинул в море. Большая часть карбасной рати еще не прибыла. А если встретить свеев, потерпеть от них поражение, на море ли, на горе, как здесь говорят про любой берег, – и провалить государево дело? Не дождется великий князь, чтоб его рать ударила врагу в спину, по каянскому рубежу. Да и леший знает, где сейчас искать тех свеев. Море – оно большое.

И еще о другом болела голова – успели ли пройти через Горло четыре лодьи-коча окольничего Головина, прежде чем там объявились вражеские шняки. Или же страждет ныне Андрей Тимофеич в свейском плену?

– Что? Палицын нашелся? – Воевода потер веки.

– От Палицына вестей нету. К тебе, свет-князь, человек лопский просится.

– Что за человек? Зачем?

Ушатый умыл лицо водой из бадьи.

– Просится. На русской молви бормочет. Божится, что дело важное.

– Бесами своими, что ли, божится? – Князь сел за стол. Стряхнул покров с кувшина, понюхал. – Вот скажи, Прошка, отчего это все здешнее молоко воняет рыбой?

– Тутешние хрестьяне кормят коров сушеной рыбой требухой. Сена у них мало, трава худо родится. Вот оно и того... отдаст.

Воевода, морщась, отпил половину, вытер губы и усы.

– Давай своего сыродца...

Лопский мужичонка робко протиснулся через порог горницы. И без того некрупный, при виде хмурого начальника русской рати он умалился еще более. По собачьи искательно смотрел из-под длинных волосяных сосулк, налипших на лоб.

– Драствуй, князя.

– Излагай.

– Мой хозин Пудзэ-Вилль. Его вежа живет на Чупаньге, а олени пасутся на Тохт-суллэ, Гагачем острове. Моему хозину служат много ноайде-вуонгга, много духов. Все нойды из сийтов возят к нему сыновей, чтобы он учил их...

– Прошка! – Воевода зевнул. – Гони прочь этого лешего. Что он тут плетет?..

– Не гони, князя! – всполошился лопин. – Мой хозин тебе скажет важно дело. Он знат, где идут воины чуди. Свечи идут в нагон на людей рууш. Пудзэ-Вилль может остановить. Он сделает погоду, и вся чудь пропадет в море. Никто не выплывет. Мой хозин будет варить свой котел, бить в куамдес и звать своих сайво. Они очень злы, эти сайво, они погубят воинов чуди.

– О чем это он? – в недоумении спросил князь Прошку.

– Кажись, бает, будто его хозяин колдун. Заколдует свеев, ежели ты, князь, захочешь. А чудью они всех немцев оттудешних зовут. Так, что ль, шлында лопская?

– Так, так, князя. Чудь много раз в нагон на саами ходила, убивала много. Мой хозин поможет тебе и твой большой князя. А ты попросишь большой князя, и его люди больше не придут к Пудзэ-Вилль за шкурами зверей, не будут брать его добро.

– Хочет, чтоб его от дани ослобонили, свет-князь, – объяснил слуга.

Лицо князя Петра Федоровича набрякло теменью, как громовая туча.

– Так говоришь, будто твой чародей знает, где теперь свейские шняки? Где же?

– В Кандалуху помалу идут, сторожатся. Пудзэ-Вилль сажал меня в лодку, говорил – чудь у Терья-пакх, у Туры-скалы. Бьют поморски станы. По рекам до погостов рууш не идут. В Кандалуху метят. Там люди большой князя сидят на шкурах со всех сийтов и на земчуге от корелы. В Кандалухе теперь порато богато. Но туда не вся чудь пойдет. – Лопин растопырил пальцы обеих рук. – Столько поплыли от горы в море. Пудзэ-Вилль не сказал куда.

– Ну а Чупаньга твоя где?

– До Кемь-реки и до Кандалухи от Чупаньги одна долго плыть, князя.

– Посредине, значит. А твой колдун, зная, сквозь землю видит, где свечи идут. И за свое бесноватое кликушество желает леготы от государя? Прошка! Чтб духу этого огузка тут не было! Пускай передаст своему хозяину, что великий князь московский не меняет государскую пользу на мракобесие! Чего сдумали-то, сыродцы лешие, нечисть болотная!.. А не то велю плетями отходить, чтоб бесов-то, аки в Писании, выгнать!..

Прошка ретиво вытолкал взашей лопаина и вылетел сам, захлопнув дверь от греха подальше. Воевода был не скор на гнев, но как распалится – шибко тяжел на руку становился.

6

Митроха уперся плечом в громадный угловатый валун, каким-то чудом стоявший узкой нижней гранью на круглом каменном подножье. Казалось – подтолкни его и покатится по отлогому скосу, усеянному белыми цветками морошки, до самого моря. Но валун держался твердо, отрок не сумел даже покачнуть его. В полста шагах далее высилась другая диковина. Над скальным выступом нависала тяжелая туша обомшелого камня, снизу ее подпирали четыре небольших. Будто зверь на четырех лапах, в холке – полтора Митрохиных роста.

Камни были хозяевами Кузовов. Когда никто не видел, они могли оживать, двигаться, пересаживаться с места на место. Каменные спины мелких голых островков торчали из моря вокруг двух больших, словно рынды-телохранители при князе и княгине. Если бы здесь поселились люди, то и они бы скоро обратились в камни.

– У лопарей все боги живут в камнях, – сказал Феодорит. – Они называют их сейды.

Он разглядывал фигуру, сложенную из валунов, похожую на верхнюю часть человека. Приваленные спереди камни изображали вытянутые руки.

– Это сделали лопари? – Митроха кивнул на обманчиво неустойчивые глыбы. В то, что хилый низкорослый народец способен на такие игры с огромными камнями, он не верил. – Колдовством?

– Не знаю.

Инок был невесел и говорил с неохотой.

Вдали показался Одгэм. Он бежал, спускаясь с островной горы и размахивая руками. Что-то кричал.

– Гляди-ка, это колдун его так ошпарил? – засмеялся Митроха.

Добежав до них, лопин разразился длинной, сбивчивой речью. Он был страшно напуган, хватал монаха за подрясник и тянул к берегу, к карбасу, показывал на море.

– Он нашел кебуна мертвым в его куваксе, – разъяснил Феодорит страхи дикого лопаря. – Колдун умер, когда киковал. Это их бесовская ворожба. И слуги колдуна нигде нет. Говорит, что нужно скорее убираться с острова, чтобы за нами не пришел его дух.

– Помер? – У Митрохи с досады вытянулось лицо.

– Ямний порато страшный. – Одгэм выкатил глаза и подпрыгивал на месте от ужаса. – Сайво не вернули его дух в тело. Он теперь шибко злой и придет ночью. Надо уплывать. Через воду он не пойдет.

Феодорит смотрел в море. Митроха, совсем недавно радовавшийся ветру, который остудил горячий полуденный воздух, ощутил смутную тревогу. Море менялось на глазах. Под посевшим небом поблекла его синева, превращаясь в жидкую сталь. Волны с пеной выбрасывались на берег. Пропали чайки и гаги.

– Мы не сможем... Митрофан, надо вытащить карбас и закрепить, иначе его унесет. Помогите мне. А ты, Одгэм, ступай обратно и похорони своего одноплемянника как у вас полагається.

Лопин закричал пуще прежнего и стал спускаться за монахом.

– Надо звать другого кебуна хоронить ямния. Кебун знает, как справиться с ямнием.

– Что же за вера у вас такая, Одгэм. – Инок залез в пенные буруны и толкал карбас на берег. Митроха изо всех сил тащил тяжелую лодку за нос. – Всего боитесь.

Для надежности карбас, выволоченный на несколько сажень из воды, обложили валунами. Феодорит снес мешки с припасами на высокое место. Митроха занялся костром – разжег мох в подобии каменного очага.

– Море – измена лютая, – мрачно повторил он давешние слова кормщика. – Теперь дядька уж наверняка без меня уйдет.

– С Кузовов до Кеми ближе, чем до Шуи. Вздоень уляжется – отвезем тебя туда.

– Нельзя тут спать, – горевал в стороне от них лопин. – Нельзя... Яммий уже приходил, сожрал слугу...

– Одгэм! – окликнул его Феодорит, высыпая в котелок крупу. – Для чего тебе нужен был этот колдун? У вас в сийте есть нойд, он тоже, наверное, умеет киковать на бубне.

– Одгэм хотел взять жену, – уныло стал рассказывать лопин. – У ее отца много оленей. Вуэдтар богата невеста. Только не может выбрать, моей женой быть или женой Вульсэ. Кебун бы наслал на Вульсэ сайво, он бы перестал смотреть на Вуэдтар. Она пошла бы ко мне в вежу. Ее отец дал бы мне за нее оленей. А нойд сказал, что не может так делать, Вульсэ ему друг.

Митроха расхохотался.

– Добрые и простодушные?! А, Федорка?

– Одгэм, – строго сказал монашек, – вот тебе и расплата за твое дурное дело. Теперь страшишься своего яммия-мертвеца.

Митроха вынул из ножен саблю и поиграл в воздухе клинком.

– Да я этого яммия – одним ударом...

Лопин, вскрикнув, бросился к нему.

– Нельзя железо! Яммий увидит – у него станут железны зубы. Тогда он сгрызет карбас и твое оружие.

Митроха спрятал саблю и оттолкнул дикого мужика. Феодорит только вздохнул.

...В сон отрока врывалось море – шипело, грохотало, злилось, пылило брызгами. Пока не разбудило совсем. В сером мареве крапал дождь, одежда промокла. Митроха приподнялся, выглянул за борт карбаса, где спали втроем. Пелену мороси разрывали расплывчатые бледные огоньки поодаль, медленно двигавшиеся вокруг лодки.

– Что это? – громко прошептал отрок, обращаясь к голове лопаря, торчащей над кормой лодки. Тот сделал знак молчать и спрятался на дне карбаса.

Вскоре сон вновь одолел мальчишку...

Утром море опять отобрало надежду на обратный путь. Вздоень не утихал, волны шли чередом. Зато Одгэм почти скакал от радости оттого, что яммий ночью побоялся сунуться к карбасу. Накануне Феодорит соорудил из тонкого ствола березы крест на носу лодки, и лопин пожелал принести русскому сейду жертву – смазать крест оленьим жиром из своих запасов. Иноку едва удалось отговорить его.

Доев вчерашнюю кашу, Митроха решил исследовать остров. По пути ему встретилось с десятков лопских сейдов самых разных обличий. А потом в распадке меж скалистых холмов с редкими елями он наткнулся на круги, выложенные камнями один в другом, поросшие травой и брусничником. Наружный круг имел вход, дорожки внутри петляли подковами. Отрок несколько раз обошел сооружение.

– Митрофан! – С вершины холма ему махал Феодорит. – Не пропадай! Туман идет.

За монахом увязался лопин. Оба спустились и тоже уставились на круги.

– Это вавилон, – сказал инок. – Такие есть на Заяцких островах.

– Зачем они?

Феодорит пожал плечами. Митроха направился ко входу в вавилон.

– Нельзя туда! – возопил Одгэм и опять в волнении перешел на свою молвь.

– Он говорит, что даже кебуны никогда не заходят в вавилоны. Их оставили древние люди, которые были сильнее теперешних колдунов.

– Значит, я буду первым.

Митроха шагнул в круг и двинулся по узкой травяной дорожке. К середке вавилона с горкой камней тропа вывела его сама, но затем она разветвилась. Мальчишка пошел по нехоже-ному пути, и скоро обнаружил, что петляет от середины к наружному кругу и обратно. Выхода

не было. Он вернулся в центр. Монах и лопин смотрели на него во все глаза. Митроха отыскал начало самой первой дорожки и отправился по ней. С каждым кругом он шагал увереннее. Но на полпути остановился от резкого вопля.

Лопин улепетывал прочь от вавилоня, надрывая глотку страшным криком. Митроха быстро довершил путешествие, добежав до выхода. Вдвоем они молча бросились за лопарем. Догнать его смогли только у карбаса. Одгэм катался по земле, уворачиваясь от рук Феодорита, а на Митроху скалил зубы, пока отрок не ударил его кулаком. Лопин обмяк и затих.

– Что ты видел, Одгэм?

Монах внимательно слушал лопскую речь вперемешку со стонами и кряхтеньем. Затем перетолмачил для Митрохи:

– Он видел, как у тебя на плечах сидел... они зовут их равками. Одгэм говорит, что ты показал ему путь из подземной страны. Теперь этот равк будет жить здесь. Или уплывет через море на тебе. Они тоже боятся воды.

Мальчишка невольно посмотрел себе за спину и фыркнул.

– Да твой лопин за каждым кустом упыря углядит.

Его все же пробрало холодком – то ли от знакомого имени, то ли от наползающего сверху тумана, уже севшего меховой белой шапкой на гору и скрывшего ее с глаз.

– Пойду молиться, – заявил Феодорит. – А ты смотри за ним.

Митроха опять фыркнул, и на этот раз его ухмылка относилась не только к лопину.

...Белая мара плотно затянула острова, легла на море, успокоив и выгладив его. Но пускаться в плавание в таком молоке все равно было невозможно. Митроха бездумно валялся в траве и не обращал внимания на лопского мужика, который бормотал над своим идолцем-оберегом. Остров был погружен в туманное безмолвие, как в белый олений мох. Тем чужероднее показались донесшиеся издали голоса. В груди толкнулась тревога.

Митроха сел и прислушался. Голоса повторились, но отрывисто звучащие слова он понять не мог. Из тумана на него вышел Феодорит. Оба поняли, что слышат одно и то же и это не морок. На карачках подполз Одгэм.

– Чудь пришла! – испуганно поделился он новым страхом.

– Свеи!.. Мурмань! – догадка, у каждого своя, одновременно пронзила обоих.

Вдвоем они поднялись выше в гору. Таясь по камням, мелким низинам и кустарникам, пошли в сторону, откуда слышалась чужая речь. Туман приближал ее, и пришлось долго бить ноги, прежде чем внизу, под угором, сквозь белую занавесь проступили очертания морских судов. На их носы были насажены деревянные чудища с разинутыми пастьми. Митроха насчитал десяток заморских лодий.

– Наверное, тут лахта, – прошептал Феодорит. – Малый залив. Удобное прибежище для кораблей. Они нашли ее до того, как пал туман.

Вернувшись скорым ходом к карбасу, сели вдвоем советоваться, как быть дальше. Митроха высказал желание немедля плыть в Кемь и предупредить князей-воевод.

– Как держать путь в тумане? – терзался сомнением инок.

– А твоими молитвами, – весело подсказал Митроха.

Порешили, что плыть должны он и лопин, знающий здешние салмы, острова и берега матерой земли. Феодорит же вызвался остаться на Малом Кузове, чтобы проследить за немецкими шняками.

Прощались коротко. Спустили на воду карбас. Монах широко перекрестил суденко. «Храни вас Бог!» Хотел было толкнуть лодку от берега, но вдруг вспомнил.

– Постой. Ты так и не сказал мне про матушку, Митрофан!

Митроха, стоя в карбасе, опустил голову.

– Да обманул я тебя, Федорка. Не видал я твоей родильницы в Ростове. Прощай!

Он сел на весла и стал грести.

...Туман облеплял камни, клочьями вис на ветках кривых малорослых берез – ёр, пуховым одеялом лежал в низинах. Феодорит, три года живший в Поморье, никогда не видел такой липкой, будто рыбий клей, мары. Станный туман.

Но пока эта белая занавесь держит в плену море и острова, чужаки никуда не денутся.

Сквозь заслон молитв в душу инока вторгались грусть и тоска. Он вспоминал отца и мать, родительский дом, ростовское училище при монастыре. Когда уходил тайком с родного двора, ничего не взял с собой, что напоминало бы о прежней жизни. Но за тысячу верст от Ростова, в малом скиту на берегу холодного моря, неожиданно-негаданно обрел ростовский памятный дар. Теперь всегда носил его на груди, за подрясником.

Феодориту представился Митрошка, снимающий с шеи свое золотое сокровище – с оглядкой, настороженно. Инок невольно улыбнулся, снимая с себя собственный оберег. Этот медный трубчатый ларчик ему отдал старец Андроник. Внутри был старый клоч пергамена, исписанный непонятными письменами. Эту грамотку старец, тогда еще не старец, а мальчонка, лет сто назад, подобрал с пола. В доме у родителей, тоже в Ростове, гостил проездом пермский епископ, знаменитый Стефан Храп, Стефан Неистовый, отвративший от кумирслужения целый народ – пермских зырян. Он и выронил грамотку из своей поклажи, а забирать у мальчишки не стал – потрепал по голове и разрешил оставить себе. Назвал эту грамотку даром Господним. Но что в ней писано, так и не рассказал, торопился в Москву. А там представился вскоре.

– Когда тяжело мне приходилось, – говорил старец Андроник юному монаху, – брал эту грамотку, смотрел, разбирал писаное. Понять и доньше не смог, но утешение немалое обретал. А верно, Стефан на ней зырянской грамотой написал нечто. Мне же не довелось на веку с пермяками встретиться, не у кого было и дознаться.

Феодорит с трепетом принял дар. О великом Стефане Пермском он знал и немало. Еще стены Григорьевского монастыря в Ростове и училища при нем дышали памятью о монахе-книжнике, который ушел оттуда в пермские леса сокрушать кумирни и учить язычников Писанию, для чего и азбуку им особую, зырянскую, составил.

Инок отколупнул крышку ларчика, осторожно вытряхнул на ладонь пергамен. Бережно развернул. Но перед взором вместо незнакомых письмен поплыли картинки воспоминаний.

Полутемный закут в училище, куда утащил его для тайного разговора монастырский послушник, тремя годами старший. Торопливые нашептывания. Книга, вынутая из-под пазухи. «Ум у тебя быстрый, Федор, а истины не ведаешь. Истина-то вот где». Затрепанные в углах листы, заглавие: «Книга шестокрыл». «Как прочтешь, пойдешь к отцу-настоятелю да заведешь разговор. Сомневаешься, мол, отчего сказано: не сотвори кумира ни в камне, ни в дереве, а мы, крещенные, доскам писаным кланяемся? И какое спасение монахам в том, что не едят мяса и спят на голой земле, ведь и скот мяса не есть и спит на земле. Какой успех в том, чтоб морить себя постом? Еще говорили попы, будто конец миру настанет в седьмотысячном году, а его все нет!...» – «Да ведь эта книга жидовствующая! – Отрок ошеломленно вглядывался в строки. – И собор в Москве на еретиков был...» – «Какая надо книга. И собор тот не собор, а так... Я скоро постриг приму, при отце-настоятеле келейником буду. Его в Москву в недолгом времени переводят, уже повестили. И я с ним туда. А на Москве сам митрополит в тех тайных книгах черпает. И благовещенский протопоп, духовник государев... Недаром же Бог даровал великому князю одоление Новгорода Великого. Победители у побежденных перенимают истинное ученье. Князю Ивану в том честь и хвала. А тут, в монастырской темноте, как кутиенок слепой тычешься. Пожалел я тебя, Федыша...»

В тот же день он тщетно испрашивал у отца и матери дозволения, чтоб отпустили прочь, не держали б в училище. Бежал из города без оглядки, отправясь в северные пустыни, где, как говорили, и Бог недалеко, и молитве до небес короче путь.

Потом первый ход на море до Соловецкого острова, плавание в сердитую осеннюю непогоду, когда на темной воде уже собиралось ледяное крошево – шуга. Монастырский кормщик, монах из поморского роду, между делом утвердил Федора в его выборе. «Без моря Бога не узнашь». – «Как это?» – «Человеку на море порато страшно. Он перед морем как перед самим Христом на суде. Вся жизнь евойная тут мерится и судится. Вот на-ко скажи, зачем в море ходят?» – «За рыбным промыслом?» – «У нас, у поморцев, присловье: кто в море не хаживал, тот и Богу не маливался. Море молитве учит, веру крепит. Велику тайну открывают. Улов-то уловом, а всё тайна морска тянет, красота Божья. Дородно тут красы-то и николи не докучит».

Через год после того – постриг, послушанье в скиту. Столетний старец Андроник прикипел к юному иноку, и все что-то искал, высматривал в его очах, заглядывал в душу. О себе рассказывал, что некогда бежал на край земли от людской славы, от княжьей почести, которые монаху – что ярмо на шею. И хотел, как Стефан, взвалить себе на плечи труд просвещения дикого народца, да Господь не дал Стефанова дара.

– Трудно будет первому, кто подымет это дело... кто потянет лопь из мрака идолюбесия.

– Ты, отче, зачем так смотришь, будто на меня этот тяжкий труд возлагаешь?

– А сколько ты тут живешь, Феодорит?

– В скиту – год.

– И уже по-корельски говоришь, и лопскую речь понимаешь. Дар языков тебе дан, как Стефану. На что, мнишь? И разум у тебя летучий, покою не ведает, ко всему тянется... Помни только: чтобы с дьяволом побороться, нужно свою волю под корень отсечь, чтоб супостат не смог через нее тебя ухватить...

Клейковина тумана висела четвертый день, белыми ночами сменяясь моросью и дождем. Феодорит устроил себе лежку на взгорье по соседству с лахтой, где обосновались свеи. Постелью служил мох, кровлей – нависавший каменный выступ. Он мог спускаться к морю и незаметно подбираться к немецкому стану. Варягов было много – несколько сотен. Днями они носили с каменной осыпи неподалеку большие и малые валуны. Выкладывали из них стену поперек горловины высокого скалистого мыса-наволока, выступившего в море. Инок вслушивался в их речи, улавливал часто звучащие слова. Научился даже кое-что понимать.

Но слежка за чужаками вызывала отвращение.

Вечером хлынул дождь, смыв туман, и скоро прекратился, а ночь выдалась ясная, холодная. Феодорит сидел на камне под открытым небом и смотрел на море, запахнувшись в сермягу. Молитвы мешались с дремой.

Как появились эти четверо, он не приметил. Обступили его молча. Сон отлетел. Инок озирался, приняв их сперва за свеев. Но это были не воины.

– Прочь... – Голоса походили на шипение прибрежных волн. – Прочь с нашего острова... Здесь все наше...

На них была лопская одежда – длинные широкие рубахи-юпы с нашитыми железными кольцами и меховой отделкой, пояса с костяными накладками и пряжками, башмаки-каньги, колпаки, покрывавшие плечи и голову. Лица у всех темны. У одного из четверых с плеч свисали волчьи хвосты. У другого к рукавам приторочены медвежьи лапы.

– Убирайся, рууш, с нашей земли... Или убьем тебя... Ты здесь один. Нас много...

Феодорит пытался сохранять ум в ясности и покое, но страх сжимал душу.

– Как же я уйду... у меня и лодки нет, чтоб уплыть.

– Бери лодку и прочь с острова...

Двое расступились перед ним. Внизу, под угором, на неподвижной воде у берега стоял карбас. Инок на мгновение испугался, подумав, что прибило к острову лодку, на которой ушли Митрофан и Одгэм. Но на тот карбас он сам ставил крест и укрепил его прочно. Море не могло разбить крест, не сокрушив саму лодку.

Как же ему захотелось побежать к морю, запрыгнуть в карбас и уплыть подальше от этого островного лопского могильника, уставленного древними идолами и кумирнями. От бесовских страхований, тревожного варяжского соседства и промозглой сырости.

Но старец Зосима, у которого он нес послушание, сказал ясно: быть ему на Кузовах семь дней. Утром настанет только шестой.

– Если вы духи умерших, то не можете ничего называть своим. А если вы нечисть лукавая под видом блуждающих душ, то не имеете власти надо мной. Меня ограждают молитвы моего аввы.

Феодорит, поднявшись, осенил себя крестом и занес руку, чтобы перекрестить волчехвостого. Но вокруг уже никого не было. Исчез и карбас.

Инок устало опустил на камень. Решил не смыкать глаз и дожидаться восхода солнца. Однако сам не заметил, как опять клюнул носом пустоту перед собой. Дернулся, выпрямился – и вздрогнул. В трех шагах от него стояла матушка. Точно такая, какой он запомнил ее в последний день перед бегством из дома: в синем распашном летнике с пуговицами под самое горло, в мухояровом плате-убрусе поверх высокого кружевного волосника, со связкой ключей в руке и с непреклонностью на лице.

– Федор!.. Как ты мог... ты обманул нас... Кто теперь будет покоить мою старость?.. Твой отец ныне помирает. Хочет проститься с тобой. Возвращайся домой, не медли!

– Матушка... – пролепетал инок. – Как ты здесь очутилась?

– Приплыла за тобой. Пойдем, Федор! Ты голоден и продрог...

– Я больше не Федор, матушка...

Монах осекся, скользнув взглядом по берегу моря: на прежнем месте колыхался карбас.

– Матушка, а перекрестись?..

– Возвращайся домой, Федор! – глухо отозвалась она. – Не то прокляну! Материнское проклятье всюду настигнет, не спасешься от него, не отмолишься.

Феодорит смотрел ей в глаза. Там стояла двумя глыбами тяжелая, черная ненависть.

– Почему ты ненавидишь меня, дух нечистый?

То, что по видимости казалось матушкой, издало злобное шипение:

– Потому шшто не могу взять тебя! Не даешься...

Видение растворилось в холодном прозрачном воздухе.

Над островом потянуло ветром-морянкой. В полуночной стороне край моря вызолотила огненная макушка солнца. Феодорит, измученный трудной ночью, повалился на свое моховое ложе.

* * *

Гром разломил его сон пополам. Одурело мотая головой, инок выполз из-под навеса скалы, подобрался к обрывистой кромке угора. Открывшееся зрелище поразило его небывальщиной.

Мешанина людей на берегу. Они бежали, падали, топтали упавших, налетали друг на друга, бились. Крики, кличи, рев. Далекий звон металла. Бердыши секли свеев, будто траву. Рогатины протыкали шевелящийся полог обрушенного шатра, самого крупного из всех. Посреди лахты медленно зарывалась острым носом в воду шляпка, еще одна прилегла набок. Саженьях в двадцати за ними кутались в облачка дыма от пушечных выстрелов два русских насада. Третий проник в лахту, но дым над ним успел развеяться. Пущенные с него ядра сво-

ротили опоры свейского шатра, взорвали ужасом пробудившийся вражеский стан. Пушечный гром дал отмашку к бою пешему ратному отряду, высадившемуся на остров загодя. Насад в лахте разворачивался на веслах, чтобы в упор расстреливать шняки. Черета нескольких выстрелов превратила раздерганную сумятицу воплей на берегу в один кромешный гулкий вой.

Феодорит во все глаза смотрел на побоище. Русских ратников было не больше, чем свеев, скорее меньше. Но варяги были смяты и обезумлены внезапностью предутренного нападения. Они чаяли себя в безопасности на островах и едва ли сторожились все дни, что стояли здесь.

Нынче, в свой седьмой день на Кузовах, Феодорит ждал какого-то исхода, но тоже не мыслил, что будет так: громовито, раскатисто, стремительно, яростно. Свечи сбивались в жалкие горстки и принимали с бою лютую смерть от сабель, чеканов, кистеней. Светлая кромка прибоа у стана заалела от крови.

Насады, отстреляв запас ядер, неторопливо приближались к разбитым, лежащим на воде вповалку, будто загульные пьяницы, шнякам.

Инок спустился по едва натопанной тропке ниже. Он стоял в рост, не скрываясь, на мшистой плешу. Его могли принять издали за чужака и снять стрелой из лука. Он не страшился этого. Бойня на берегу заставила его страдать. В ней, как в капле воды, содержалось все море людских страстей. Как в малой персти – вся горечь взбунтовавшегося земного праха.

Он перебрался еще ниже по голым каменным панцирям с ёрником в щелях. Здесь уже слышался гул стонов, хруст ломаемой человеческой плоти.

Какому-то свею удалось вырваться из тисков бойни. Он бежал наверх, карабкался, падал на четвереньки, цеплялся и опять бежал. Вдогонку пустился ратник в стеганом кафтане и шапке – некольчужный, бесшлемный, с одной только саблей. Узнав его, Феодорит порывисто бросился навстречу обоим.

Варяг-беглец выбился из сил и пал ничком меж кустов цветущего вереска. Преследователь, бежавший быстрее, как горный зверь, в несколько мгновений настиг его и занес для удара клинок.

– Стой, Митрофан! Не убивай!

Феодорит остановился поодаль, громко дыша. Затверделое лицо с тяжелым взглядом яснее ясного говорило: он готов безоружным броситься на мальчишку, если тот сделает неверное движение.

– Тебе что с того? – грубо крикнул отрок. – Убирайся, чернец. Это не твоя битва.

– Возьми его в плен. У него же нет оружия.

– Вон там его меч, – Митроха презрительно кивнул под гору, – обронил, когда скакал, как заяц.

Свей пошевелился и опасливо перевернулся набок. Увидев мальчишку, а сзади еще одного, сел и, торопясь, заговорил на своем каркающем языке. Тыкал пальцем в грудь, показывая на разгромленный стан, где затухало побоище, отвергающе тряс головой. Молил Митроху взглядом.

– Видишь, он говорит, что не хотел плыть сюда, – вольно перетолмачил иннок.

– Тошно мне от твоей жалостливости, Федорка, – процедил Митроха. – Вербка есть? Принеси. Вязать его буду.

– Я быстро!

Феодорит заспешил к убежищу наверху.

Когда он вернулся, Митрофан стоял над мертвым телом и задумчиво обтирал саблю пуком травы. Горло варяга густо кровянело.

– Зачем? – Инок пятился, непонимающе глядя на труп. – Ты...

– Не кудахчи, Федорка. – Мальчишка зло сплюнул под ноги и обернулся к берегу. Резко выбросил вперед руку с клинком. – Смотри, это я сделал! Я прорвался через туман и скалы,

чуть не сдохнув там. Я привел рать. Я отомстил за Хабара. А ты мне говоришь – зачем? Дядька Иван, сотенный голова, запретил мне вылезать с лодьи. Да что мне его слова? А тебя я вовсе ничем зову и ни во что кладу.

Он обошел кругом мертвеца и запрыгал по камням вниз.

Где-то еще добивали остатки свеев, но бой уже прогорел до дна. Ратники выносили своих раненых, сгоняли в одно место взятых в полон, подбирали оружие, рубили клинками уцелевшие свейские шатры.

Бешено стонали над лахтой чайки.

7

Кемская волостица кипела. Собирались разрозненные части рати. У пристаней, вдоль берегов, вокруг Лепострова, обтекаемого гремющей на порогах Кемью-рекой, копились карбасы, теснились двинские насады. Чистился, проверялся оружейный снаряд. В деле на Кузовах побывала лишь треть войска. Остальные, ревнуя, с особым тщанием отыскивали на своей оружейной оснастке, извлеченной из лодий, следы порчи – мало ли что могло завестись на металле от морского рассола. Кемским суровым бабам-поморкам и неохотливым на гульбу, но бойким девкам отбою не было от молодецкого задора, смехов и подходов.

Князь-воеводы толковали с корельскими мужиками-вожами, знавшими речные долгие пути как линии у себя на ладонях. Раскладывали на столах пергамены, чертили, водили пальцами, скребли в бородах, хмурились. Кореляков сменяли поморские люди, доставали из-за пазух свои рукописные мусоленные книжечки с записанными морскими ходами. Сыпали лопскими, корельскими и новгородскими именами берегов, губ, островов, наволоков, луд, салм и скал, которые звались тут пахтами. Рассуждали, где можно пересечь путь свеям, где отрезать их, где прижать к скалам или бросить на подводные корги. Слушали промысловых мужиков, неурочно прибежавших на лодьях-соймах и карбасах из становищ в Кандалакшской губе. Те жаловались на беспромыслицу из-за долгой непогоды, вязких туманов, взводней. Свеев никто не видал.

На последнем совете князь-воеводы порешили, что нужно самим идти к Кандалакше в полной силе и искать встречи с неприятелем.

Митроха после возвращения с Кузовов будто выпал из всей этой бодрой суеты. К разгадке своей тайны он так и не приблизился, и она все сильнее жгла ему грудь, горячила ум, запекала на огне сердце.

Как-то, шатаясь меж двор, он наткнулся на груды ветоши у жердяной изгороди. Куча пошевелилась, обнаружив красную рожу, остро поглядевшую на него из-под длинных волосатых сосулес. Ее обладатель сел, притулясь к жердине, и вся ветошная груда оказалась диким лопарем в оленьих кожах. Митроха проявил интерес.

– Ты, что ли, лопин, который к воеводе приходил?

– Я лопин, ходил ко князя, – охотно согласился мужик.

Отрок опустил перед ним на корточки.

– Что твой хозяин, сильный колдун? Неведомое знает?

– Знаткой, знаткой, – закивал лопарь. – Пудзэ-Вилльй много ведат. Князя-воевода не поверил, прогнал лопина.

– Чего ж ты тут валяешься, а не вернулся обратно? Боишься своего колдуна?

– Лопин не надо обратно. Пудзэ-Вилльй знат, что князя его не послушал.

– Откуда он знает?

Мужик сморщился в довольной и лукавой ухмылке.

– Ты – тайа. Не саами. Тайа не поймет. Только олмынч-саами поймет. Человек из лопи. Князя не верит лопину, но Пудзэ-Вилльй все равно поднял погоду. Воины чуди не уйдут от грома и железа рууш.

– Ты что, – Митроха наморщил лоб, – говоришь, будто это твой колдун наслал проклятый туман на море?

– Пудзэ-Вилльй хочет помогать большой князя рууш, – мелко засмеялся лопарь, – хочет погубить чудь.

– Ах ты. – Отрок замахнулся кулаком на тщедушного мужика, но бить не стал. – Меня этот туман чуть на скалы не насадил!

Он встал. Какое-то время раздумывал. Затем пнул лопаря сапогом.

– Отвезешь меня к своему колдуну. Где твоя лодка?

Лопин кряхтя поднялся и без слов заковылял по улице, косолапо загребая дождевую грязь остроносными каньгами.

* * *

В веже было полутемно, жарко от огня и смрадно. Немного света давала дыра в самом верху лопского жилья, вытягивавшая дым. К дыре сходились высокие жерди, на которых были натянуты пласты березовой коры, снаружи плотно обложенной мхом. По обе стороны от очага, горевшего в глубине вежи, были навалены еще шкуры, служившие ложем и сиденьями. Над огнем на высокой перекладине висел котел с водой.

Кожаная занавесь входа была глухо закрыта. Митроха сидел боком к ней, вытянув ноги. Против него, другим боком ко входу сидел нойд Пудзэ-Вилльй. Его короткие ноги лежали в переплет вдоль Митрохиных. На коленях он держал большой продолговатый бубен. Светлая натянутая на основу кожа была разрисована красной древесной краской: две линии посередине разделяли небесные светила, богов в человеческом обличье, зверей. По нижней половине бубна вольно бродили медведи, волки, олени, бобры, зайцы, птицы, плавали рыбы.

Нойд размеренно бил в бубен колотушкой из оленьего рога и тянул песню, то тягучую, то резко подсакивавшую. Митрохе от пения колдуна было мерзко. К тому же старый пень, растрескавшийся морщинами и прокоптившийся в дыму, не сводил с него глаз. Будто насквозь протыкал.

Митроха скосил взгляд на гривну, слабо блестящую на груди поверх рубахи.

– Смотри перед себя! – прервав песню, сердито прикрикнул нойд. – Ты должен видеть, что придет.

Мальчишка послушно уставился на него. Со лба и по телу катили капли пота, во рту была сухая горечь, одна нога занемела. Он не смел шелохнуться. Перед тем как начать киковать, нойд велел ему исполнять все в точности, иначе обещал отправить восвояси ни с чем. Митрохе пришлось согласиться на все. Для начала колдун накормил его оленьим мясом, которое ели по-собачьи: встав на карачки и таская куски с плоского деревянного блюда ртом, без рук. Затем усадил в кережу – санки, похожие на маленькую лодку, поставленную на один полоз и подстегнутую упряжку к оленю. Сам нойд сел в другую кережу. Лопин-слуга привязал Митрохиного оленя позади упряжки Пудзэ-Вилльй. Нойд гикнул, ударил своего оленя длинной палкой – и они понеслись по мхам, травам, кочкарникам. Несколько раз Митроха чуть не вываливался из шаткой лопской повозки, пока не приспособился удерживаться при помощи ноги, выставленной из кережи наружу. Пудзэ-Вилльй блажил дурным голосом – Митроха не сразу догадался, что это песня.

После полоумной скачки сидение на пороге вежи под новую, тягостную песню нойда уже не вызывало желания вопрошать. Зато потянуло в сон. Звуки бубна растекались по телу истомой, будто наполняли плоть жидким, сразу застывавшим свинцом.

Наконец он увидел. Из полога вежи, не затронув шкуру, появилось нечто. Очертаниями оно походило на человека в кожаных одеждах коротким мехом наружу. Перешагивая через ноги Митрохи и нойда, оно повернулось и посмотрело на отрока. Из горла мальчишки выдался сиплый клекот внезапного страха. Передняя часть головы призрачной твари была вытянута темной звериной мордой, похожей на собачью или волчью. В круглых глазах светились желтые огоньки.

Дух направился вглубь вежи, обогнул очаг и вышел из лопского жилища через заднюю стенку.

Нойд перестал бить в бубен и оборвал песню. Митроха понял, что Пудзэ-Вилльй тоже все видел.

– Тонто пришел на твой зов, – довольный, сказал нойд. – Духи выбрали тебя.

– Я никого не звал. – Митроха все еще переживал ужас от видения.

– Я звал за тебя. Тонто разрешили давать тебе знание и зрение. Тонто-чэрм посмотрел на тебя. Ты станешь большой нойд.

Пудзэ-Вилль поднялся и ушел к очагу. Заглянул в котел. Принялся что-то искать позади каменки, стоя на коленях и бормоча. Перебирал кожаные свертки, берестяные туесы.

Митроха не придавал значения последним словам колдуна. Он встал и в охотку потянулся, оживляя задеревеневшее тело.

– Дай мне это и садись.

Нойд протянул руку к груди отрока. Трепетно приняв гривну, он склонился над ней у огня, внимательно разглядывая. Митроха уселся на шкуры.

– Пудзэ-Вилль слышал о золотом сейде бога Каврая от старых нойд. Они уже не были нойдами, когда рассказывали, у них выпали зубы. Теперь они мертвые. Пудзэ-Вилль не знал, что увидит своими глазами золотой сейд и будет сам держать его. Старые нойды говорили, что его принес в землю Саамедна человек рууш. Он пришел из страны Рушш. Его имя было Хабба.

– Хабар! – Митроха задыхался от волнения.

– Хочешь увидеть его? Ты сможешь. Сайво покажут тебе.

Нойд с неохотой вернул гривну. Затем раздул огонь сильнее, бросил в котел что-то темное и сыпучее, стал помешивать. Вежа скоро наполнилась терпко пахучим паром.

Из берестяного ковша нойд пил варево первым, только потом зачерпнул для Митрохи. Встав посреди жилища, Пудзэ-Вилль снова начал колотить в бубен. Промежутки между ударами сперва были долгими. В них уместилась короткая песня нойда, похожая на отрывистый рык, а потом начался рассказ. Или не рассказ.

Митрохе казалось, что он слышит слова колдуна не ушами, как полагается, а глазами. Он видел то, что происходило много лет назад, будто вспоминал. В уме вставали живые видения, как во сне, только отчетливее, яснее. Вежа исчезла, вместо нее был лес и в нем поселение, похожее на пустынный монастырек. Много людей, ратников. На земле лежат убитые с оружием в руках. Все в рубищах, из-под которых видны дорогие одежды. Горящая сильным черно-рыжим пламенем церковь. Человек с перевязанной головой и побитым лицом. Шатаясь, он идет в лес. Там еще один мертвец, со сломанной шеей. Раненый снимает с него золотую гривну и прячет на себе.

Сразу после этого – море, скрипящая лодья, визги чаек. Но лодья уже не лодья, а сумеречная вежа. В ней кругом сидят, поджав ноги, лопские люди. Среди них тот же человек, взявший у мертвеца в лесу гривну.

«Хабба хотел, чтобы нойды забрали у него силу богов. Он говорил: ему тяжело нести ее в себе. В стране Рушш такие, как он, прокляты, и бог рууш, которого зовут Крыст, отверг его. Нойды не сказали ему, что силу богов нельзя отнять. Если боги выбрали его, он будет нойд рууш, пока не потеряет зубы. Он показал им золотой сейд. Нойды не взяли сейд.

Они были злы на людей рууш, которые пришли в землю Саамедна и привели своего бога Крыст. Нойды решили соединить силы своих ноайде-вуонгга и духов, которые служили Хаббе, чтобы прогнать людей рууш и их бога. Они принесли в жертву богам много оленей, самых жирных, сальных важенков и молодых хирвасов. Возле сейда Каврай-олмака они пели песню-заклинание иййике и говорили с духами из страны Яммеаймо, страны мертвых. Хабба был с ними. Он не знал, о чем нойды просили духов. Он думал, они просят богов сделать как он хотел, забрать у него ноайде-вуонгга. А они просили, чтобы духи привели на людей рууш и на их сийты у моря воинов чуди.

Хабба остался жить с ними. Скоро на Терья-рынт пришла морским нагоном чудь. Она сожгла сийт рууш и убила жрецов бога Крыст. Тогда нойд сийта, где жил Хабба, пришел к нему

и рассказал о нагоне чуди. Он сказал, что Хабба сильный нойд и его ноайде-вуоннга могучие духи. Без них нойды не смогли бы навести чудь на людей рууш, потому что бог Крыст тоже могучий. Хабба стал зол на нойдов. Он взял свое оружие и пошел воевать против чуди. Он был смелый рууш. Хабба убил много чуди, а чудь убила его. Потом она уплыла через море, на великую реку Вин. Там чудь тоже сожгла сийты рууш.

Хаббу нашли жрецы рууш, которые убежали от чуди. Они помирили его с богом Крыст и похоронили».

В видения вновь проникли звуки бубна. Удары теперь были быстрыми, резкими, торопились один за другим. Они были похожи на черный водоворот, в который затягивало Митроху. Он хотел закричать, но не услышал самого себя. Он стал цепляться за черные смолистые и такие же липкие, как смола, стены воронки, куда его засасывало. Это помогало ненадолго. Потом он срывался и погружался в удушливый деготь еще глубже.

Через очень долгое время, за которое он успел два раза умереть, его подхватило, как будто кто-то поймал за ворот, и куда-то швырнуло. От страха Митроха ужаслся до размеров маленького, жалко пищущего комка. Он видел перед собой гигантский плавник на спине огромной рыбы. Он сидел на рыбьей спине и куда-то двигался на ней, как на коне. По сторонам проплывали морды, лапы, длинные птичьи ноги и клювы.

Его бил озноб. Он кричал, отбивался кулаками от плоских рыл, тыкавшихся в него тупыми холодными носами и мокрыми пастями.

Видения не кончались.

Он лежал на черной земле под красным светилом, не похожим ни на солнце, ни на луну. То с одной стороны, то с другой из светила вырастали острые углы, иногда они вылезали все вместе, образуя багровый пятиугольник. Вокруг Митрохи ходили туда и сюда лопские духи тонто то ли с собачьими, то ли с волчьими мордами. Потом среди них появился другой. Он был крупнее и страшнее – точь-в-точь оживший истукан с Кузовов. На плечах сидел валун с отверстиями глаз и каменной складкой рта, на макушке у него рос мох. От его поступи тряслась черная земля. Он поднял Митроху и с силой бросил наземь. Снова поднял и обрушил ему на голову удар каменного кулака.

Потом на Митроху надели тонто. Они ломали его тело, вывихивали руки, выбивали суставы коленей, крушили ребра, выворачивали шею. Один тонто залез когтистой рукой прямо в живот, ковырялся во внутренностях, забираясь выше, к сердцу.

Митрохе было очень плохо. Самому себе он казался мертвецом, вставшим из могилы.

Наконец его оставили в покое. Он хотел умереть по-настоящему, и должен был – после всего, что с ним сделали. Но почему-то не умирал. Все чувства были обострены до предела, до невыносимой боли в душе.

Он видел вежу Пудзэ-Вилль и себя, лежащего на шкурах и под шкурами. Колдун vyhаживал его. Поил из берестяного ковша зельем, натирал медвежьим жиром грудь, живот и спину, где вспухли багровые нарывы. Сквозь изголовье из свернутой оленьей кожи Митроха видел лежащую там гривну.

Потом он увидел совсем другое. Лодейную рать, идущую на море. И другую, из свейских шняк. Обе рати сошлись в большой губе. По свейм ударили пушки, пробивая ядрами борты и днища. На вражьих судах пушечного наряда не было. Корабли стали сближаться, сходились бок о бок, ломая весла. Переброшенные якоря сцепляли их намертво. Московские, двинские, устюжские ратники, как морские бурные валы, хлынули на вражьи шняки. Завязалась сеча. В море летели раненые и убитые, днища покрывались лужами крови. Мертвые обвисали на бортах, снастях. Продырявленные ядрами шняки уходили под воду.

Князь-воеводы взяли в плен три корабля свеев и около сотни людьми.

Вместе с ними Митроха полетел на попутном ветре в Кемь. Но тут его сдернуло с воздушей и опять унесло в черную страну под багровым пятиугольным солнцем. Там его снова

мучили духи тонто. Деловито разделявали на части и пересобирали все тело из отдельных кусков, через глазницы забирались к нему в голову. Под их беспощадными руками-лапами Митроха был тряпичной куклой, глядящей на мир глазами из стеклянных пуговиц.

* * *

Плеск волн и покачивание на морской глади показались блаженством после того ада, в котором его так долго держали. Лицо щекотало горячими лучами настоящее, а не преисподнее солнце. Митроха с усилием разлепил набухшие веки. Над ним было синее высокое небо и паслись белоснежные облачные коровы. С высоты срывались чайки, падали на море и взмывали с рыбешкой в клювах.

Он ухватился за борт карбаса, попытался сесть. Тело отозвалось страшной ломотой и болью. Отрок со стоном лег.

– Что со мной? – Позади его головы раздавались удары весел о воду. – Где я?

– Тайа плывет на Кемийок. В Кемску. От Поньгомы уже близко. – Митроха узнал голос лопина, прислуживавшего колдуну Пудзэ-Вилльй. – Хозин велел везти тайа обратно, чтоб он не умер в его кёдд. В его веже. Если рууш умрет в веже Пудзэ-Вилльй, другие рууш узнают и придут к мой хозин. Они убьют Пудзэ-Вилльй, заберут его оленей и сожгут кёдд.

– Что он со мной сделал, твой проклятый колдун? – с хрипом выдохнул отрок. – Отравил?! Коли останусь жив, сам приду к нему, убью и спалю вежу. И тебя прирежу, собака лопская.

– Э-э, зачем тайа ругат лопина и его хозина? Ты ходил к Пудзэ-Вилльй знать то, что не положено людям, только духам. Пудзэ-Вилльй сделал, как ты хотел. Твой дух ушел в страну Яммеаймо и был там долго. Пудзэ-Вилльй помогал, чтобы ты вернулся.

Глаза все больше наливались тупой болью от разлитого вокруг света. Да и открыть их полностью не получалось. Митроха поднес к лицу руку и ощущал разбухшие глазницы.

– Что со мной? – в холодном страхе переспросил он.

– В тебя входила сила бога. Если не умрешь, станешь сильным и злым кебуном. Духи тебя выбрали.

– Я не вашей идольской веры! – выкрикнул он из последних сил, чувствуя, как вновь накатывает темень. – Что мне лопские бесы?!

Рука беспокойно шарилась на груди, под кафтаном. Гривна оказалась на месте. На мгновение это успокоило, но потом просверкнула мысль: должно быть что-то еще. Он не мог вспомнить. Сознание заволакивалось пепельным дымом. Из ниоткуда вновь стали выныривать страшные морды, расти и исчезать, как мыльные пузыри. Это мельтешение обдало его новым ужасом.

Почти уйдя за грань света, он вспомнил, чего не смог найти на привычном месте: серебряного креста. Чертов колдун украл его тельник, хотя не тронул золотую гривну. Бессильный страх обрушил мальчишку в черную пропасть...

Душа Митрохи была как морская волна в то мгновение, когда кроткая отливная вода замирает, становится совсем неподвижной перед тем, как вздохнуть начинающимся приливом. Поморы называли это мгновение полного затишья куйпогой – опустошенность отливной волны, совершенное бессилие, уже чреватое новой мощью, новой жизнью.

Душа вздохнула, наполнилась приливной силой и устремилась к оставленным берегам.

– Очнулся-от, раб Божий?

Митроха узрел наклонившегося над ним попа, длиннобрадатого, с веселыми морщинами у глаз.

– На-ко, теперь, знать, пойдешь на поправку, беспрременно.

– Где я? – прошептал Митроха.

– В Кемской. Лопин из Чупаньги тебя привез да сдал старосте. А тот мне. Анде, брат, задал ты нам небывальщину. Тут на море живешь, дак про всяко быванье слышишь, а то сам видишь. – По выговору поп был низовский, не из новгородцев, но поморский обычай в речи перенял. – А про такое-то у нас не слыхано было. Чтоб сперва пропал, ровно в олений мох провалился, а после в таком-от виде из моря выплыл. Видал бы ты себя. Ноне-то ужо получше, а было... – Поп покачал кудлатой головой. – Заглазья черные, взбухшие, лик белый, мертвячий. Язвами-от весь изошел. Какая напасть тебя поедом ела – ума не приложу. Гадали-мерекали – не моровая ли? Кемляне от меня спопервоначалу стороной ходили, сторожились. После дурные бабы баять стали, будто на тебя-де лопае стрелье пустили. Кудес такой, колдовство лопское. Прострелит человека – и уж то ли скорчит, то ли с ног повалит, а не то в землю уложит.

– А дядька где же? – Отрок взволнованно задвигался на ложе, пытаясь подняться. – Иван Никитич?

– Ушел твой дядька. Со всею ратью на Каяно-море побежал.

Митроха отчаянно простонал и обмяк.

– Свейских людей-от побили в губе Кандалухе. Полоняников до Колмогор на взятых шняхках снарядили. Да и пошли в карбасах по Кемь-реке. Много-от карбасов, воды чистой не видно было от них. На порогах карбаса вздынули, а дале поплыли. На Кеми у нас порогов да падунов непосчитано. А за Кемью по другим рекам да по озерам, а где и волоком. Еще, должно, и не дошли до той Каяни.

Поп принес в избяную клеть большую кружку с варевом, от которой исходил густой рыбный дух. Вбил на постели подголовье, подтянул повыше совсем слабого Митроху и стал кормить с ложки.

– Разевай-ко рот пошире, раб Божий. Попадья-то моя нонеча роды принимает, так ужо я тебе заместо нее кормилкой побуду. А ты мне поведай-от, что за почесуха тебя к лопи понесла аж за полморья?

Митроха послушно глотал горячую уху и молчал. Поп настырно глядел.

– Ну не хошь, не говори, раб Божий. Да мнится мне, ты не своим товаром торговать принялся.

– Я государев служилый человек, а не купчина, – охмурел Митроха.

– Ну, а я чего баю-то? То присловье такое, смекай. Не к своему делу ты пристал, государев человек, к лопае-то ездючи. Оберег вон идольский на себя повесил. Ну да твои грехи, твое покаянье.

Митроха схватился за белую сорочицу на груди.

– Да не зри волком-то, раб Божий. В ларь сложил твое золотишко, чтоб не давило тебе на душу... Молебны в храме по тебе служил. Господь-то милостив.

Вместо гривны отрок нащупал деревянный тельник на нитке. Покончив с ухой, он ослабленно оплыл на перине.

– А что ж дядька Иван Никитич? Так и ушел, обо мне позабыв?

– Чего ж забыв? Ты на дядьку свою не грехи, раб Божий. Обиду-ту не надувай, как лягуху на солоmine. Искали тебя, берега обшерстили все. Мерекали, будто утоп ты. Палицын твой наказал старосте искать бессрочно, тело аль живого. А ждать-то ему недосужно было. Теперь тебе его ждать... На-ко, а ты и спишь уже. Ну, дородно, спи.

Впервые за долгое время в Митрохин сон не вторгались видения.

...Через несколько дней он начал выходить из дому. Спускался с высокого крыльца, садился на лавку под окном и смотрел на узкий рукав Кемь-реки, буйно скачущий по порогу, оmyающий с краю каменные кости Лепострова. Дом священника стоял на юру. С такого гляденя хорошо видны были расставленные вдоль дальнего берега вешала с сетями на просушке,

амбары для вытопки сала морского зверя, станковые избы, скалы. А за всем этим еще одно поморское море – зеленое чащобное. Тайбола уходила за окоем, как за край земли...

Язвы на тулове заживали, отпадали сухие корочки. Ушла чернота с глазниц. Тело наполнялось свежей силой. Митроха принуждал себя накрепко забыть все, что было в веже лопского нойда и в черной стране мертвых. Но однажды понял, что бесследно эта бывальщина, приключившаяся с ним, не исчезнет. Что-то осталось навсегда, как некая метина.

Это было видение, пришедшее наяву, когда он сидел во дворе дома. Думал про то, что так и не узнал у колдуна, о чем молчат знаки тайнописи на гривне. Внезапно закружило голову, и река, дальние амбары, тайбола поплыли. Вместо них встало совсем иное. Митроха будто летел медленно в небе и зрел внизу две светлые ленты рек, сходящихся углом. В месте их слияния раскидало по берегу лопарские шалаши, крытые оленьими шкурами. Из речных объятий вода текла широко, привольно. Берега морской губы расходились все дальше, их резали поперек губы помельче, лахты, крутые щели, длинные изгибистые скалы, раскрашенные в зелень. Одна скала остановила на себе взор Митрохи. На ее плоской вершине темнела жирная каменная туша лопского сейда. Неведомая сила придала ему грубое подобие сидящего человека с низко опущенной головой. Возле камня были навалены горкой оленьи рога.

Видение расплылось и пропало. Митроха, схватившись за голову, ладонями до боли давил на глазницы.

Никогда эта земля и ее темное колдовство не отпустят его. Даже если он убежит за тысячу верст отсюда.

Золотая гривна каким-то образом ответила ему. Разгадка ее была на тех пустынных берегах...

Часть вторая. Северная вольница

Лето 1514-е

1

Девка-холопка перекусила хвост нитки и ловко вдела в иглу новую.

– Щастлива боярышня-от наша! За мужем, за боярином в Москови дородно жить будет, в палатах богатящихся...

– Сколько ж это от Колмогор до Москови? – подняла голову от шитья другая девка. – Верст-та тышшу але поболе?

– Эка даль. Аки сирота тамо будет, – жалостливо вздохнула третья. – Отца-то с матерью ужо не видать. А бывает, забижать почнет родня московска? Кто нашу горлицу пригреет?..

– Ну цего брешешь-то, Марфутка? На-ко помолци, – окоротила ее первая девка, подшивавшая подол сарафана у грустившей на высоком сиденье боярышни. – Муж-то рази женку не пригрет? Да ешшо какая тут тебе сирота? Наша Алена Акинфовна вона сколько приданова повезет тудысь!

Она махнула рукой с иголкой на большой отверстый ларь с вываленной прямо на пол горой одежды: сарафанов, летников, опашней, шугаев, шушунов, из бархату, атласу, зендени, сукмани, тафтяных, мухояровых, с меховой оторочкой, серебряными и стеклянными пуговками, с жемчужной вышивкой, с золотым шитьем.

Из глаз хозяйки девичьей светелки полились мокрые дорожки. Холопка, бросив подол с иглой, выхватила из рукава утиральник и бросилась промокать ей лицо.

– А слезыньки-то рано лить, боярышня, – принялась выговаривать госпоже. – Двои седмицы до Петропавла ешшо в девках ходить, воля девицыя разлелееццо ешшо. На девишнике невестину жалостницу с подружками потягнете, а ноне никакo нельзя. Ноне опосле обеда сваты жениховы придут, смотреть будут товар для купца своо, высматривать невестушку нашу бело-яру, дородну красу нашу, ненаглядну. А коли опухшо личико увидят да жениху обскажут про Несмеяну Заплаканну, вдруг он да раздумат жениться-от?..

– А разве не сговорено еще, Агапка? – Девица схватила холопку за руку, взволновавшись надеждой. – Впрямь ли может передумать? Уж я бы тогда и расстаралась не глянуться-то сватам!

– Ии, Алена Акинфовна, – будто даже обиделась Агапка, – как же не сговорено, когдысь ешшо зимой отцы ваши уладились. А сватам положено, как без сватов. Да грех тако думать-то, боярышня. Жених-от у нас справной, пригож молодец, роду боярскова...

– Я сама из боярского роду, – вскинула подбородок Алена Акинфиевна. – Дед мой на новгородском вече сидел. А в ихнем роду боярство сто лет как былъем поросло... И надо ж было ему в церкви-то меня углядеть! – Невеста снова поникла. – А я-то и не знаю, каков сам, не видала толком. Да что и знать – нелюб он мне сразу!

– Анде, так-то ужо сразу? – округлила очи Агапка, снова откусила нитку и подхватила с полу.

Раскрыла на поставце скрыню-невеличку, расцвеченную узорами, полюбовалась вынутыми серьгами из поморского жемчуга. В каждой висюльке было по редкостной черной жемчужине, увенчивавшей розово-сиреневые нанизы.

Агапка отодвинула девку, убиравшую косу невесты лентами, и приложила серьги к ушкам госпожи. Тут же под нос Алене Акинфиевне сунули зеркальце.

– А он-то ждет не дождецце, когдысь его дроля *любая* с ним под венеч станет! Дары-от каки засылат!

Хозяйка равнодушно оттринула и зеркальце, и серьги. Холопка с укором спрятала женихов подарок в скрыню:

– И так ужо батюшка спридержал тебя в девках, боярышня. Старших выдал, а про меньшую, бывает, забыл. Семнацать летов поди. Бывает, через год-другой и не глянет никто.

– А на что мне, чтоб кто глядел, кроме...

Алена прикусила губу. Девка-холопка задумчиво погрызла костяшку пальца.

– А пусти-ко меня, боярышня, до пристаней. Нонеца по двору баяли, лодья Митрея Хабарова из Кандалухи пришла. Дак я погляжу, нет ли там кого знакомова-то, из холопья, что в поход с ним ходили в Норвегу, по лопску дань. Больно уж про Норвегу-ту спослушать охотце. А может, и подароcek какой перепадет, – бесстыже хихикнула Агапка.

Невеста, бурно задышав, едва дождалась, когда холопка договорит. Чуть не вскочила с сиденья, но удержалась, зарозовела.

– Побежи, Агапка, – кивнула по-хозяйски, однако пряча глаза. – Разузнай хорошенько. А может, и то узнашь, пожалует ли Митрий Данилович к батюшке, как прежде захаживал. Впрямь любопытно-то, как норвецкой поход удался, добром ли, не было ль худа.

И голос не дрожал, справилась с собою.

– Ой, цего скажу-то! – спохватилась холопка, страдая взором и прочих девок, и боярышню. – Бают, будто лодья на парусах пришла, а ветру-то надысь с самого утречка нету, затишшо!

Ее товарки повтыкали иголки в шитье и разинули рты.

– Не зря шепчут, будтысь он, Митрий-то, с ворожкой знаецце. И удаця у него завсегда на хвосте сидит!..

– Что мелешь, Агафья! – осерчала Алена Акинфиевна. – Дура бестолковая, плетёха пусторотая. Всякий помор, который море, что поле, пашет, знат, как ветер раздражить себе в прибыток.

– Да не всяк-то умет! – вздорно перечила девка. – А так, цтоб только ему дуло в парус, а вокруг тишь стояла, кто горазд? Лопски колдуны так могут, от них и взял.

– А даром ли у него и женки-то нету, – подбавила одна из швей. – А ужо средовек. Кто ж такому свою кровиночку отдаст?

– Ну заблеяли, ровно овчи. – Боярышня нахмурила чистый девичий лоб под бисерным очельем. – Агапка! Допрежь пристаней сбегай на двор к Басенцовым, кликни Ивашку да скажи, что зову его. Пускай тотчас придет, коли делом не привязан.

– Бежу!

Алена Акинфиевна с дрожащей на устах грустной полуулыбкой открыла дареный женихом ларчик и будто невзначай просыпала на пол жемчужные серьги.

* * *

Двухъярусная дородная хоромина Митрия Хабарова стояла в Колмогорах на отшибе, меж посадами, огороженная крепким тыном, что твой острог. С прошлого лета, как государев служилец повел ратную ватагу в норвежскую сторону, двор пустовал: у Хабарова даже последний холоп владел оружием и шел в дело, а баб, стряпух и портомой, он не держал. В стороже оставался один старый конюх. Теперь же у дома явились признаки обжитости. Створки ворот разошлись, окна на верхнем ярусе были отворены. На длинном шесте над кровлей обвисла алая ветреница, показывая безветрие.

Однако двор был безлюден.

– Эй, – робко позвал отрок, вставший посреди, между амбаром-поветью и конюшней.

Из-за спины у него беззвучно вышагнул сумрачный мужик в поморской рубахе-бузурунке и кожаной безрукавке. Ивашка вздрогнул и торопливо объяснил, что ему нужен хозяин. Коротко и равнодушно расспросив его, слуга отправился в дом, не позвав отрока.

– Кореляк! – грозно вылетело из раскрытого окна наверху. – Принеси пива!

– Несу, хозин! – коряво отозвался слуга-корел.

Сколько Ивашка ни общался с корельскими людьми, ни один из них не мог чисто выговаривать по-русски. Лопари да самоеды и то лучше выучивались русской молви.

Однако слугой кореляк оказался проворным. Ивашка не успел соскучиться стоймя, как его позвали.

– Ну, из каких ты Басенцовых будешь?

Отрок с любопытством в светлых очах разглядывал знаменитого на все Колмогоры, да и на все Поморье, ватажного голову, воеводившего отрядами охочих людей, которые по указу ли великого князя или по слову двинского тиуна, либо по своей воле ходили решать боем досадные порубежные споры со свеями, норвежанами и каянской чудью. Все одно, касались ли те споры дани с каянских корел или с норвежской лопи, которую свеи и мурманы не прочь были собирать в свою пользу, либо земельных границ, либо иных обид, каких на любом порубежье всегда немало.

– В соседях с боярским сыном Акинфием Севастьянычем Истратовым живем. – Для солидности отрок добавил баску в ломающийся мальчишечий голос. – Меня к тебе, Митрий Данилыч, Алена Акинфиевна просила пойти.

И сам смутился, что на девичьих побегушках оказался. Охмурел. При том не сводил глаз с Хабарова. Тот сидел, широко раскинувшись, на лавке, в лиловых сафьяновых сапогах, атласных портах и тонкой белой рубаше. Из раскрытого ворота волосянула широкая грудь. Ивашка с уважением подумал о могучей плоти ватажного атамана – тот кого хошь мог плечом сшибить с ног.

– Алена Акинфиевна? – Государев служилец отхлебнул пива из обширной кружки. То ли не подал виду, то ли впрямь не удивился. Отставив кружку на лавку, он чуть подался вперед, к Ивашке. Рассмотрел с ног до головы. Спросил имя. – А что, Иван Михайлов сын, пойдешь через пару годов ко мне в ватажники? Ну и что, что морем кормитесь. Оружному бою мои люди тебя обучат. Ватажный-то хлеб небось легче и сытнее, чем морской.

– На море свой разбойный промысел – зверя бить. А людей бить не хочу, – глядя ясно, отверг Ивашка.

– Ишь ты, гордый! – Хозяин дома отвалился к стене, взял кружку. – Брезгаешь. А ну как батяка твой потеряет в море все свои лоды? У меня есть такой, морской бедовальщик Конон Петров. Слыхал? На новые лоды серебро собирает.

– И тогда побрезгаю, – твердо ответил отрок.

– Да ты глуп, как я погляжу, – неожиданно озлился на мальчишку Хабаров и стал хлебать до дна пиво.

– Будешь слушать-то, об чем Алена Акинфиевна велела сказывать? – тоже построжел Ивашка, нимало не боясь атамана, который мог запросто вышвырнуть его из окошка.

Государев служилец раздраженно промычал, опрокинув в рот содержимое кружки. В горницу так же беззвучно, как делал все, проник слуга-кореляк.

– Хозин, Угрюмка верталса. Тиун Палицын нет в Колмогор, ехал на Емцы. Будет через день три.

– Да и бес с ним. – Хабаров мощно и кисло дохнул пивом на Ивашку, дрогнувшего от нечистого слова. Затем наставил на отрока палец: – Говори.

2

В сырой дымке белой северной ночи, не успевшей перейти в янтарное утро, поперек двинского рукава Курополки плыл карбас. Большой Куростров, лежащий прямо против колмогорского посада, все четче обозначался в белесых испарениях реки своими сосняками и луговинами. На веслах сидел Ивашка Басенцов, недовольно хмурый. На носу лодки тулилась и зевала Агапка, завернутая от сырости в суконную епанчу, с колпаком на голову.

– Домашним-то чего сказала, Алена? – хрипло после долгого молчания спросил отрок.

– По травы с тобой идем, – кротко ответила девица. На ней была дорожная однорядка из шерсти сарацинской скотины верблюда и обыденные сапожки темной кожи. Голова убрана невзрачным платом. – Вон и коробыи прихватили.

– Опять к бабке Потылихе понесешь, на зелья? – Ивашка обиженно, совсем по-детски шмыгнул.

– Не на зелья, а на лечбу, сколько тебе говорить, несмысел. – Алена хотела улыбнуться, да не смогла. Одолевали думы и страхи.

Карбас ткнулся в каменистый берег с торчащими меж валунов мелкими цветками. Агапка, подхватив туеса, сошла первой. Ивашка не двинулся, когда боярышня пробиралась мимо него с кормы на нос.

– Не ходи, Алена Акинфиевна! – вырвалось у него.

– Жди нас тут, насупоня! Как соберем полные коробыя, так вернемся, – усмехнулась девица. – Солнце по-над лесом встать не успеет.

Подобрав подола, она вышагивала по высокой траве напрямик к лесу. Агапка увязалась следом, но госпожа указала ей в другую сторону.

– Туда иди-ко. Ты мне помехой будешь.

И оставила девке оба туеса. Холопка, с недосыпу неразговорчивая, изумленно моргала боярышне вслед, потом поплелась, куда показали.

В лесу только-только просыпались птицы, пробовали голоса. Было зябко. Подола скоро промокли от обилья росы, потяжелели, липли к ногам. Алена упрямо шла напрямик через светлый бор с редким подлеском и обширными ягодниками. По пути попадались тропки, бежавшие в разные стороны, но она не соблазнялась пойти по ним. Леса на Курострове не страшные и заблудиться человеку не дадут – где-нибудь да выпустят на привольную пожню, укатанную дорогу или к позадворьям малых островных деревень.

Все же, выбравшись на просторную луговину, Алена почувствовала себя увереннее. Перехватила повыше подола и устремилась к дальнему перелеску. В открытом поле была своя неприятность – могли узреть праздношатающуюся девицу, а хуже того – узнать. Она пожалела, что не догадалась хоть для виду взять у холопки туес. А трав бы, хоть даже никчемных, не лечебных, набрала на обратном пути – вон их сколько, иные почти в пояс вымахали. Все одно к бабке Потылихе их не понесет.

Новый лесок Алена обходила по кромке. Когда далеко впереди показался стоящий отдельно, как отрезанный ломоть, черно-сизый ветхий ельник, повернула к нему. И побежала бы, если б не опасалась подвихнуть ноги на кочках и ямах, скрытых травяной гущей.

Помедлив, она вошла в ельник, сразу укрывший ее будто кровлей. Идти стало легче – по земле стелился мох. Зато в душе прибавилось страху. Куростровский заповедный ельник был местом темным, диким. Его не любили и обходили стороной. То была вотчина древней нечисти, оставшейся от стародавней белоглазой чуди, сгинувшей некогда.

Содрогаясь от непрошенных страшных мыслей и часто крестясь, Алена вышла на просторную елань, сажений двадцать поперек. Ее окружали, будто стража, дремучие, века назад выцветшие ели с проплешинами. Стволы были покрыты безобразными пятнами рыжего мха.

Алене вдруг с обидой и жалостью к самой себе подумалось – почему же здесь?.. Но сразу нашелся ответ: тут единственно верное место, где можно...

– Не побоялась, – раздался позади довольный и вкрадчивый голос.

На плечи ей легли крупные мужские руки. Сердце Алены с буханьем возвращалось на прежнее место, откуда мгновение назад прыгнуло в пустоту. Вмиг забылись все страхи языческого святилища.

– Митенька!..

Она повернулась и отшагнула, покраснев от сильного волнения. Потупилась, но сразу снова вскинула на него очи, полные смятения. Уронила с головы на спину платок, распушив светлые волосы.

Колмогорский служилец Митрий Хабаров залюбовался ею, ненастырно протягивая к девице руки.

– Покрасовела еще боле, Алена Акинфиевна. Знал бы, когда впервой тебя увидел, что в такую ненаглядень вырастешь, тогда б еще тебя в жены выпросил.

– Что ж потом не выпросил, о прошлом лете? – дыша всей грудью, молвила она.

– Поздно. Не по нраву я стал твоему родителю, воинскому голове Истратову.

Хоть и не сводил с нее прямого взгляда, Алене почудилась в его словах заминка – будто и правду сказал, да не совсем.

– А нонече мне батюшка с матушкой велят замуж идти, – с неожиданной для самой себя покорностью сказала она. Будто смирилась?

Но жадно смотрела на него – дрогнет ли хоть что-то в лице? Не дрогнуло. Напротив, точно расслабилось в нем что-то. Оглядел ее снова всю целиком и остался равнодушен. Поскущел будто бы.

– Ну и иди, – прозвучало жестко.

– Да ведь как тебя забуду? – вскрикнула, чуть не плача.

– Забудешь, как всякая баба.

Алена замотала головой, брызнув слезами, и бросилась ему на грудь. Едва доставая макушкой до верхней петлицы кафтана, затормошила:

– А ты, Митенька, увези меня увозом! Свадьбу-то скоро готовят, на после Петропавлова дня. Батюшка с караульным отрядом опять скоро в Пустозерск идет на полгода, и допрежь того меня под венец поставить хочет. А увезешь – попа сыщешь сговорчива, обвенчаемся, в ноги кинемся батюшке с матушкой – простят!..

Не отстраняя ее, но и не беря в руки, Хабаров охладил девичью страсть словно пригоршней льда:

– В поход опять иду. Новую рать собираю на Каянь. Не до тебя, Алена Акинфиевна, станет теперь.

В ответ она с жаром принялась топить его лед:

– Спрячешь меня до времени, пока вернешься, а я ждать буду!

– Да ведь негде. Не здесь же тебе избушку поставить, – усмехнулся служилец. – Не к самодинам в вежу тебя запихнуть. Не в корельских болотах утаить.

– А в Кандалакше-то, бают, двор себе поставил? – из последних сил надеялась она, рабски заглядывая ему в глаза.

– Прознали уже, – с новой усмешкой качнул головой Хабаров. – Ты, Алена Акинфиевна, как считаешь – отец твой про тот мой двор перво-наперво не подумает? Налетит, пока меня и моих людей не будет, тебя в охапку, а двор, чего доброго, пожжет от обиды.

Девица утерла кулаком слезы, рывком отстранилась.

– Да что ж я. Навязываюсь, ровно холопья дочь, без стыда. Будто соромная девка. – Она гордо вздела голову. – Видно, не любя тебе стала...

– Уж нешто тебе жених так противен? – удивлялся ватажный атаман.

– Век бы не видать его!..

– Кто ж таков?

– Государева тиуна Палицына сын, Афанасий Иваныч.

– Вот чудеса... – закаменев внутренне и наружно, глухо вымолвил Хабаров.

– Зимой с Москвы гонцом от великого князя прискакивал, привозил грамоты тиуну. Тогда и положил на меня глаз. Теперь сызнова примчал, жениться. Заберет меня отсюда навеки... и уж не видеть мне тебя боле, Митрий Данилович. А помнить буду.

Она отступила еще на шаг и поклонилась большим обычаем, глубоко в пояс. Покрыла платком голову.

– Постой, Алена Акинфиевна. – Служилец был удручен и нахмуренно изумлен, почти растерян. – Я же его, Афоньку этого, пятилетним глуздырем помню... В доме Палицына в Москве жил тогда... родней дальней... И он – тебя...

Боярышня невесело усмехнулась.

– Теперь-то он не глуздырь, а дюж молодец. Брови соболины, взор орлиной, ростом мало тебе уступит. И богат, и при государевом дворе служит...

– Ну что ж. – Хабаров справился с собой, повел плечами, будто сбросил что тяжелое. – Попрощаемся, Алена Акинфиевна.

Мягко шагнул к ней и взял обеими руками за голову, поднял лицо. Наклонился к губам. Целуя долго-долго, стянул с нее платок, запустил пальцы в заплетенные волосы, разворошил.

– Сладко-то как... – Алена едва сумела оторваться и замерла с зажмуренными глазами. – Ажно голову повело...

Вдруг прямо над ними взрезало тишину ельника. С тяжелым хлопаньем пронеслось что-то черное и в вышине заграило мерзким вороньим голосом.

Вскрикнувшую Алену от внезапной жути бросило и тесно прижало к Хабарову. Он схватил ее на руки, легко поднял и понес. Ей было все равно – куда и зачем, только хотелось, чтобы мгновенья эти никогда не закончились. Чтобы так всю жизнь и прожить, и умереть – уткнувшись лицом ему в грудь, доверчиво отдав ему душу...

Он сорвал с себя епанчу из нерпичьей кожи и бросил на мох под елями. Незаметно, будто сами собой расстегнулись пуговицы девичьей однорядки и петлицы его кафтана.

В безмолвии заповедного ельника было слышно лишь громкое, прерывистое дыхание.

Алена тихо вскрикнула и быстро, часто задышала открытым ртом. Глаза распахнулись широко, одновременно жалобно и удивленно...

– Теперь ты знаешь, что делать?

Так спросил, будто бы ничего и не случилось – ровно, отстраненно.

Алена лежала полубоком, почти на животе, спрятав лицо в плаще. Молча мотнула растрепанной головой. Он не продолжил, и она спросила:

– Что теперь будет, Митенька?

Хабаров, неподвижно лежавший рядом, откинув на мох правую руку, медленно заговорил:

– Пойди к отцу и проси, чтоб позвали бабу из тех, которые тебя сватали. Пусть проверит, цел ли товар...

Алена сжалась, подтянув колени.

– Коли сумеешь, пригрози, что ежели не скажут Палицыным – сама разгласишь на свадьбе. Если не забоишься... Ну да, чаю, не будет свадьбы. Только имя мое прежде сроку не говори. Вернусь – сам с Акинфием Истратовым потолкую.

– А в черницы меня отдадут, – тихонько всхлинула она, – грех-то замаливать?

– Невелик грех. Да и не успеют. К Димитриеву дню осеннему ворочусь из Каяни. В монахи так быстро не стригут. А успеют – выкраду тебя из черниц.

– Да ежели не скажут тебе, в какой монастырь меня спрятали?

– Найду.

Алена, приподнявшись, уперлась локтем в епанчу.

– Не ходи в свой поход, Митенька! – От нее повеяло тревогой. – Беспокойно мне за тебя. Сон видела. Будто бы кличут меня к тебе. А я иду, и в церковь вхожу, и вижу два гроба без крышек, бок о бок стоят. Ноги-то у меня ослабли, и меня под руки ведут к тем домовинам. Одна-то пустая, а в другой... ты лежишь... неживой. Хотела я от горя своего тут же лечь с тобой рядом, в пустой гроб... – Она умолкла.

– Легла?

– Из твоего гроба огонь вышел, объял тебя и домовину... А я... проснулась от страху.

– Чепуха тебе снится. А на Каянь мне великий князь велит идти. Если всякий станет от государственной службы отговариваться бабьими снами, знаешь, что будет?

– Что? – наивно спросила она.

– Завоюют нас немцы, литвины и татарва.

Над еланью снова закаркало. Две вороны бранились, кружа низко, ниже верхушек елей. Грай делался все пронзительней и будто нечистым потоком лился на землю. Алена, зажмурясь и прикрыв уши ладонями, подползла к Митрию.

– Погоди-ка, вот я их, чертовок...

Хабаров вышел на середину елани. Алена смотрела, как он неспешными движениями будто снимает с плеча невидимый лук, достает из тулы за спиной стрелу, оттягивает тетиву и целится в ворон. При том что-то негромко говорит им, непонятное ей. Гадкие птицы, разразившись напоследок особенно несносной руганью, улетели.

Митрий вернулся, лег, обняв Алену одной рукой.

– Верно ли люди говорят, будто ты колдовать научен? – спросила она, не зная, что хочет услышать в ответ. – От лопских колдунов будто бы умение взял?

– Врут, – равнодушно бросил он. – Что от дикой лопи взять-то можно, кроме звериных шкур и мехов?

Девушка немного успокоилась. Но темные мысли, разворошенные воспоминанием о давешнем сне и воронами, все не стихали.

– Как же ты додумал в этот ельник меня звать? В Колмогорах да на Курострове все знают, что здесь своим богам чужь поклонялась. Капище тут было. – Алена села и огляделась, зябко скукожась. Утро уже выпветило небо над ними лазорью, но тепло еще не разошлось по земле. Или его не пропускала замшелая еловая стража. – Бывает, где-то тут стоял идол серебряной, а то ли золотой, и мазали его кровью жертвенной.

– Человечей?

Алена, оборотясь, посмотрела ему в лицо. В нем не было усмешки, как сперва показалось. И не ответила.

– А когда хоронили-то своих, на капище сыпали в едино место землю, смешанну с золотом. Гора вырастала велика... Потом тут пограбили мурманы. Унесли на свои шняки всю золоту гору и чудско идолище. Новгородцы в те годы еще не пришли сюда, к морю...

Она услышала какой-то звук и не поняла, что это. Повернулась к Хабарову. Ватажный атаман смеялся – смех пузырился у него в горле, а наружу выходили только ошметки этого странного смеха.

– Знаешь, где сейчас то золото? У меня.

Алена недоверчиво и грустно покачала головой.

– У меня, – повторил он. – В Кандалакше. Из Норвегии привез прошлой осенью, от мурманов, потомков тех, что грабили здесь. Не веришь?.. Они отлили из того золота церковные украшения. Опоясали золотым поясом деревянного Христа, венчали золотым венцом Богоматерь, золотой цепью увили распятие. Плюгавый латынский поп пытался объяснить мне, что

золото священо и нельзя его брать. Его привез из Бьярмаланда какой-то древний варяжский князь. Бьярмаландом они зовут наше Поморье и Заволочье. Кореляк перетолмачивал мне попа. Я сказал ему, что раз золото краденое, оно не священо. И забрал все до алтына.

Государев служилец не стал лишь говорить девице о том, что латынский поп уgomонился только после удара чеканом. Да и людишки из той деревни на берегу холодного фьорда не хотели так просто отдавать свое единственное богатство.

Он перевернулся, сел на колени.

– Пора тебе, Алена Акинфиевна.

Поднявшись с плаща, она испытала внезапный острый стыд, о котором удалось ненадолго забыть за разговором. Хабаров подхватил смятую епанчу, бросил себе на плечи. Подошел к девице, взял за подбородок и коротко поцеловал.

– Сделаешь, как я сказал?

– А побоюсь? – взглянула большими молящими очами.

– Судьба не любит боязливых.

Развернул ее и легко подтолкнул в сторону, откуда Алена пришла. Она пошла, чуть покачиваясь, будто испила хмельную чарку. Через несколько шагов запнулась о траву, пошатнулась, едва не упала.

Митрий Хабаров не шелохнулся, глядя ей вслед...

Не помнила, как доплелась до берега Курополки. Завидела Агапку, бездельно шатавшуюся на краю леса. В туюса, полные мятой зелени, Алена даже не заглянула. Знала, что холопка дельной травы все равно не соберет. Прошла мимо. Вдали на воде виден был карбас Ивашки, куда-то плававшего и теперь возвращавшегося.

Солнечные лучи разогревали воздух, в верблюжачьей однорядке стало душно. Она стянула ее с себя. Холопка позади громко охнула.

Алена встала как вкопанная. Догадалась сразу про свою оплошку. «Ну и пусть!»

– Охти мне! На-ко лешшой! – придушенно загомонила Агапка. Бросила наземь туюса. – Ай невтерпеж стало?! Дай-ко хоть травой зазеленю, будто упавши измарано... Когдысь же ты, боярышня, поспела с женихом-то стакнуццо? А надысь-то мы слезы лили!..

Холопка то ли и впрямь не догадывалась, кому навстречу торопилась Алена Акинфиевна, то ли нарочно представлялась дурой, чтоб иметь после всего малую отговорку от сурового наказания хозяевами.

Девушка Истратова терпеливо и покорно ждала, пока Агапка затрет следы на сарафане. Только стыдно было, что все это на виду у Ивашки. Хорошо хоть, ему не слышны дурные причитанья холопки.

Однорядку все же пришлось снова надеть и томиться в ней.

3

Управитель всех двинских и поморских земель колмогорский тиун Палицын встречал гостя не по чину – сам вышел на крыльцо и даже спустился на двор. Ни один служилец не удостоился бы такой почести, но ватажный голова Хабаров был особым случаем. За год, что Иван Никитич исполнял тиунскую должность, еще ни разу не довелось видеть этого молодчика, зато наслышан был о нем паче меры. Оттого почти не удивился, когда в присланной на днях от государева двора грамоте снова оказалось это имя. Сам великий князь Василий Иванович жаловал ратного удалыца службой и милостью. Отчего ж не выйти встретить во двор эту птицу?

Митрий Хабаров замешкался возле коня, оглаживая бока статного каурого жеребца и не торопясь отдать его в руки слуги. В Поморье, на двинских просторах конная езда редкость – больше ходят по воде, а севернее Колмогор конную ездовую тягу вовсе заменяют оленьей. На войну опять же морем и реками идут. Немудрено служилому человеку соскучиться по седлу под собой, по конскому запаху, походной дружбе с конем.

За то время, пока ватажный голова ласкался с жеребцом, Палицын и успел спуститься во двор. Хабаров бросил поводья угрюмого вида слуге и пошел навстречу тиуну.

– Ба! – Иван Никитич в радостном изумлении даже ноги согнул в коленях и растопырил руки для объятия. – Да неужто ж Митрофан! А я-то гадал, что за Хабаров тут, что за сокол ясен. Родня, не родня, из каких Хабаровых? А вон, оказывается, что! Ну, удивил, Трошка!

Он облапил служильца и услышал негромкий ответ на ухо:

– Ошибся ты, дядька. Не Митрофан я. Митрий мое имя.

Палицын оторвал его от груди.

– Ну Митрий, так Митрий, – не сбавляя тона проговорил, хотя ощутил прохладцу, идущую от бывшего воспитанника. – Дай же рассмотрю тебя. Одет что твой боярин – бархат, тафта. Вымахал! Это ж сколько я тебя не видел? Годов десять? Больше! Уже тогда обогнал меня ростом. А тут, на северных ветрах, силищи набрал... Ты ведь после того похода на Обь со мной в Москву не вернулся. Вот и считай... тринадцать лет пропадал пропадом.

– Пойдем-ка, Иван Никитич, к тебе в дом. – Хабаров оглянулся на десяток дворских служильцев, усиленно делавших вид, что не подслушивают. – Там и поговорим про жизнь да про дела.

– Пойдем, пойдем. Все расскажешь. Вопросов у меня до тебя мно-ого.

И первый вопрос Палицын задал на крылечных ступеньках, наклонясь с верхней, приглушив голос и усмехнувшись:

– А по батюшке-то теперь как величаешься, михрютка?

– Как прежде, дядька, – так же, вполголоса ответил Хабаров. – Митрий Данилович я.

– И то добре, – кивнул бывший кормилец.

Расселись по скамьям в широкой горнице, в которой колмогорский тиун принимал двинских и поморских людей всякого звания. На одной стене висела оскаленная морда белого медведя – ушкуя. По другой на поллицах плыли неведомо куда под парусками и на веслах поморские лодейки-игрушки, ловко состряпанные каким-то умельцем со всем тщанием корабельного художества: летнепромысловые соймы, кочмары для зимнего ходу на море, в бортовых «шубах», чтоб не раздавило льдами, торговые речные насады, раньшины, которые можно тащить на полозьях по льдинам, как сани, обиходные карбаса.

Пока челядь готовила обеденный стол в соседней горнице, Палицын вынул из поставца свиток, передал гостю.

– Дьяк великого князя от государева имени велит тебе, служилый человек Митрий Хабаров, вести отряд охочих людей на поселения каянской чуди, кои не по правде и не по кня-

жьем милости стоят на государственной земле. Если все исполнишь как надо, жалует тебя государь местом кандалажского воинского головы... А теперь скажи мне, друг сердешный Митро... хм, Митрий. Сидел ты зиму и весну в Кандалакше, ни слуху от тебя не было, ни духу. А тут объявился, аккурат к московской грамоте, да без меня, не видимши указу государева, уже людей собираешь и оборужаешь. Как такое может быть?

Иван Никитич раздумчиво шурил на служилыца поблекшие с годами очи. Палицын был ныне стар – полсотни лет стукнуло, из которых тридцать пять отдано службе. Голова поиндевела, лицо задубело в морщинах. Однако словно как прежде, будто не было этих годов, видел он перед собой малого Митроху, беспокойного, несговорчивого, часто злого михрютку, с которого нельзя спускать глаз – иначе какую-нибудь вновь вытворит неподобь.

Митрий несколько раз пробежал взглядом по грамоте. Усмехнулся, довольный, гордый.

– А мне, дядька, не надо грамот, чтоб знать, как государь и брат его, князь Федор Иванович Бельский сдумали порешить дело с корельской данью, которую свеи крадут из-под носа у князь Федора.

– Это как же так? – не понял Палицын и осерчал: – Прикажешь верить дурной молве, которая про тебя тут ходит? Точно ты колдовством к себе удачу приваживаешь, ворожбой дальнее зришь.

Митрий рассмеялся, но как-то нехорошо, жестко.

– Дурная молва от зависти родится. А колдовать Кореляк умеет, холоп мой. Мне его убогая ворожба ни к чему. О том, что в грамоте у тебя здесь писано, ведаю от посыльных из корельской вотчины князя Федора Бельского. Его люди быстрее оказались, чем государевы. Те-то через Устюг по Двине, да в Устюге небось загуляли, а эти – через Новгород и онежские пути. Князь Федору Ивановичу свеев с их финской чудью наказать и поучить – кровное дело, вот и торопит. А меня он знает, не одну службу ему сослужил. Про жалованье воинским головой в Кандалухе, верно, он великого князя надоумил.

Палицын слушал внимательно, но вдруг спохватился.

– Да что мы с тобой все о делах, а ты у меня еще не потчеван и не поен! Дорог разговор к столу, да не о службе, а о дружбе.

К столу колмогорскому тиуну в сей день подавали постное: запеченую щуку, уху из мурманской знаменитой трески, сельдь на пару и в подливе, рыбные колобки и кулебяки с семужинной, да отдельно спинки семужьи, морсы – клюквенный, брусничный, из морошки, мед нехмельной. За трапезой сидели вдвоем, по-простому и по-домашнему. В Колмогорах Палицын жил бирюком – жена померла, сыновья взрослые, служат кто где.

– Слышно, Афоська к тебе, Иван Никитич, приехал. Женится будто бы. Где ж он?

– Где ни то, – покрутил ладонью Палицын. – Он нынче что тетерев на току. Глух и глуп от счастья. Ты бы про себя рассказал, Трошка. Где пропадал столько лет. Чем тебя край земли к себе так привязал.

– Что тебе, дядька, рассказать. Ходили мы с тобой через Камень на Обь князьцов тамошних под московскую клятву приводить. А обратно врозь пошли, и на том пути наши разминулись. Ты с князем Ушатым в Москву, я с князем Семеном Курбским в Пустозерск вернулся. Там пять лет под Акинфием Истратовым сторожу от дикой самоеди держал. После в Колмогоры подался. С ватагой помытчиков по лопским тундрам и тайболам ходил, снежных кречетов ловили для княжских охотничьих забав. В датскую землю плавал с государевым послом Герасимовым, на море Мурманском тогда лихие промышленники баловали, суденки грабили. Дань собирал с лопи, с корел. Свой отряд себе нажил, с ним теперь хожу куда велют или куда сам надумаю...

– По государственной надобности?.. – быстро и усмешливо глянул Палицын.

– По государевой, а как же, – широко улыбнулся ватажный голова. – Когда тихо идем, а когда и громко, с государевым именем. После того как свеи с великим князем мир взяли, громко покуда не ходили. Ну а нынче-то – подыдем колокольный звон, а, Иван Никитич?

Оба расхохотались: в грамоте великого князя писано было о реке Колокол, одной из семи, что впадали в Каяно-море, числились владением московского князя и обживались вперемежку корелой и финской чудью. Первые были данниками Москвы, вторые – свейского короля.

Палицын вытер руки поданным рушником и посерьезнел.

– Больше полуторы сотен охотников с собой не бери. Не на рать идешь, а за данью. Чтоб королю свеев обид не чинить и нечем было б ему потом в грамотках уязвлять великого князя... По весне каянские корелы снова жаловались подьячему в Куйтозерском погосте, что свейские люди взяли у них всю нашу дань. Так ты ту дань возьмешь с финских смердов. Цифирь – сколько и чего – тебе выдадут. Что сверх возьмешь... ну, сам знаешь.

– Знаю... Просьба у меня к тебе, Иван Никитич. Верней сказать, не просьба, а... Давай так, я тебе свое дело расскажу, а ты сам решишь, просьба это или что иное.

– Ну выкладывай свою загадку.

– Сейчас у нас мир со свеями. Да много ли надо, чтоб этот мир порушился. Помнишь, дядька, первый наш каянский поход? Свейскую судовую рать в Студеном море помнишь?

– Как не помнить. Ты у меня тогда крови попил, Трошка.

– Значит, помнишь, что до Кандалухи им дойти непогодь тогда помешала. А там – дань со всей лопи, торг поморский и корельский, казенное подворье с подьячими. И все это открыто, что с моря, что с земли. Нараспашку. Приходи да бери силой. Как мы к каянам ходим, так и они тем же путем к нам придут однажды. Так я к чему? Острог нужен, дядька. Лесу там своего довольно, место ровное я на глаз размерил. Работных только нагнать.

Палицын думал, шевеля над столом пальцами. Словно прикидывал дело так и эдак.

– Про замысел твой, – сказал наконец, – надо великому князю отписать. Острог на береговых камнях и скалах ставить – труд немалый. Серебра потребует вдоволь. У государя же Василия Ивановича два года как иная забота, и серебро московское на эту заботу течет рекой. Смоленск мы нынче берем, Митро... – Палицын махнул рукой. – Об это лето великий князь в третий раз повел войско на осаду. Упорен государь, непременно хочет у Литвы отнять сей достолавный русский град. Раньше осени с войны не вернется. А у меня срок тиунства к тому времени истечет. Ну да не беда. Оставит князь еще на год – отпишу ему. Вернет в Москву – на словах обскажу. Дело-то впрямь нужное.

– А у меня еще одно такое ж. Смотри, дядька.

Митрий сдвинул на столе блюда и чаши, задрал скатерть. Обмакивая палец в алый клюквенный морс, стал рисовать берега Студеного и Мурманского морей. Звериной мордой с тупым рылом вытянулся Мурманский Нос – огромный полуостров, разделивший два моря. В глотке у этого зверя была Кандалакша, а там, где должны быть уши, Хабаров вывел два маленьких завитка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.